

Михаил Салтыков-Щедрин
Помпадурсы и помпадуршы

«Public Domain»

1873

Салтыков-Щедрин М. Е.

Помпадуры и помпадурши / М. Е. Салтыков-Щедрин — «Public Domain», 1873

Острые сатирические картины из жизни российской глубинки второй половины XIX века, с блестящим юмором безупречно выписанная галерея представителей провинциальной бюрократии... Все это – «Помпадуры и помпадурши» – одно из самых популярных произведений Салтыкова-Щедрина.

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| От автора | 4 |
| «Прощаюсь, ангел мой, с тобой!» | 5 |
| Старый кот на покое | 16 |
| Старая помпадурша | 28 |
| Здравствуй, милая, хорошая моя! | 42 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 54 |

М.Е.Салтыков-Щедрин. Помпадуры и помпадурши

Михаил Евграфович САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН ПОМПАДУРЫ И ПОМПАДУРШИ

От автора

Молодые наши помпадуры очень часто обращаются ко мне за разъяснениями, как в том или в другом случае следует поступить. Обращения эти ставят меня в большое затруднение, ибо у меня нет ни секретарей, ни канцелярии, вследствие чего большую часть писем я бываю вынужден оставлять без ответа.

Между тем никто лучше меня не понимает, что единообразие в действиях по вопросам внутренней политики не только полезно, но и необходимо. Поэтому я решился разъяснить хотя те основные пункты помпадурской деятельности, которые настолько необходимы для начинающего помпадура, чтобы он, приезжая на место, являлся не с пустыми руками. Таковы, например: проводы, встречи, отношение помпадуrows к подчиненным, к обывателям и к закону, выбор помпадурш и т.д. Я выбрал форму рассказов, потому что она понятнее. Сухие, отвлеченные рассуждения едва ли доступны молодым людям, получившим воспитание в заведении искусственных минеральных вод¹, и, во всяком случае, должны показаться им несносными. Рассказы же они прочтут, и даже, быть может, усвоят. Знаю, что я далеко не исчерпал всех случаев помпадурской деятельности, но меня утешает то, что я первый сделал почин в этом смысле. Быть может, другие последуют по указанному мною пути и внесут в это дело более ясности и более таланта. Я же лышу себя надеждой, что господа помпадуры приобретут мою книгу, хотя бы для того только, чтоб поощрить мою попытку пролить некоторый свет в эту своеобразную сферу жизненной деятельности, в которой до сих пор все было так темно и неопределенно.

¹ Заведение искусственных минеральных вод в Новой деревне в Петербурге существовало с 1834 по 1873 год. С конца 50-х годов, когда антрепренером его стал И.И.Излер, приобрело известность танцевальными вечерами и эстрадными представлениями фривольного характера.

«Прощаюсь, ангел мой, с тобой!»

Очень уж нынче часто приходится нам с начальниками прощаться. Приедет начальник, не успеет к «благим начинаниям» вплотную приступить – глядь, его уж сменили, нового шлют! Поэтому мостовая в Вислоуховском переулке и доднесь не докончена, а проект о распространении в народе надлежащих чувств так и лежит в канцелярии не переписанный набело. Один начальник, как приехал, так первым делом приступил к сломке пола в губернаторском кабинете – и что же? сломать-то сломал, а нового на его место построить не успел! «Много, – говорил он потом, когда прощался с нами, – много намеревался я для пользы сделать, да, видно, богу, друзья мои, не угодно!»

И действительно, приехал на место его новый генерал и тотчас же рассудил, что пол надо было ломать не в кабинете, а в гостиной, и соответственно с этим сделал надлежащее распоряжение. Следовательно, если и этого генерала скоро сместят, то другой генерал, пожалуй, найдет, что надо ломать пол в столовой, и таким образом весь губернаторский дом постепенно перепакостят, а «благих начинаний» все-таки в исполнение не приведут.

Говорят, будто это так нужно. Говорят, что прежде можно было допускать засиживаться на одном месте, потому что тогда ничего больше от администратора не требовалось, кроме того, чтоб он был администратором; нынче же будто бы требуется, чтоб он, кроме того, какую-то «суть» понимал². Я полагаю, однако ж, что все это одна пустая фанаберия, ибо, по мнению моему, всякий человек всякую «суть» всегда понимать способен: стоит только внушить. Возражают против этого, что иногда такая «суть» бывает, которую будто бы и внушить совестно, но это возражение, очевидно, неосновательное, потому что человек надежный и благонравный от самой природы одарен такою внутреннею закваскою, которая заключает в себе материал для всякого рода «сути»; следственно, тут даже и внушений прямых не нужно, а достаточно только крючок запустить: непременно какую-нибудь бирюльку да вытащишь!

Скажу, например, про себя: сделайте меня губернатором – я буду губернатором; сделайте цензором – я буду цензором. В первом случае: сломаю на губернаторском доме крышу, распространю больницу, выбелю в присутственных местах потолки и соберу старые недоимки; если, кроме этого, надобно будет еще «суть» какую-нибудь сделать, и «суть» сделаю: останетесь довольны. Во втором случае: многие сочинения совсем забракую, многие ошпилю, многие украшу изречениями моего собственного вымысла; если же, кроме этого, потребуется, чтобы я сделал «суть», то и «суть» сделаю. Всем быть могу; могу даже быть командиром фрегата «Паллада», и если бог мне поможет, то, чего доброго, выиграю морское сражение³. Повторяю: если иногда нам кажется, что кто-либо из наших подчиненных действует не вполне согласно с нашими видами, что он не понимает «сути» и недостаточно делает «благих начинаний», то это кажется нам ошибочно: не нужно только торопиться, а просто призвать такого подчиненного и сказать ему: милостивый государь! неужто вы не понимаете? Верьте, что он поймет тотчас же и почнет такие чудеса отчеканивать, что вы даже залюбуетесь, на него глядя. Это все равно как видел я однажды на железоделательном заводе молот плющильный; молот этот одним ударом разбивал и сплющивал целые кувалды чугунные, которые в силу было поднять двум человекам, и тот же самый молот, когда ему было внушаемо о правилах учтивости, разбивал кедровый орешек, положенный на стекло карманных часов, и притом разбивал так ласково, что стекла нисколько не повреждал. Стало быть, дело совсем не в том, какой молот, большой или малый, а в том, какое сделано ему свыше внушение.

² Под «сутью» разумеется предъявлявшееся правительством Александра II к государственной администрации требование непонимать новую социально-политическую обстановку, разбираться в существе реформ 60-х годов.

Но будет философствовать; расскажу о том, как мы на днях лишились своего начальника. Но прежде считаю нелишним познакомить читателя с моей собственной особой.

Я человек преданный; все начальники знают это и смотрят на меня одинаково; я с своей стороны тоже смотрю на всех начальников одинаково, потому что все они – начальники. Рас толковать это как следует я не могу, но полагаю, что читатель поймет меня и без объяснений. Всех начальников я одинаково жалею, всем – одинаково радуюсь. Знаю, что если начальник без причины вспылит на меня, то он же, когда будет нужно, и простит меня.

Знаю, что я виноват; если не виноват в действительности, то виноват тем, что сунул на глаза начальнику не вовремя; потому что ведь и он тоже человек и по временам имеет надобность в уединении. Начальство с своей стороны снисходительно, и хотя знает, что я виноват, но видит, что и я это очень чувствую, и потому прощает мне. В этих мыслях я воспитал жену свою и надеюсь воспитать все семейство. Весь город за это нас уважает, и когда случается провожать старого или встречать нового начальника, то я всегда при этом играю видную роль.

«Встречать» – дело не трудное; тут чем больше радушия, чем больше приветствий, тем лучше: начальники это любят. Возражают иные, что и здесь излишеством можно пересолить, потому что начальник еще не заслужил; но начальник никогда так не думает, а думает, что он уж тем заслужил, что начальник. Но «прощанья» своего рода политики требуют. Тут надобно так устроить, чтоб новый начальник не обиделся излишними похвалами, отбывающему воз даваемыми, а думал бы только, что «и тебе то же со временем будет». Следовательно, необходимо прежде всего, чтоб торжество прощанья имело исключительно характер преданности. А потому, если отбывающий начальник учинил что-нибудь очень великое, как, например: воздвигнул монумент, неплодоносные земли обратил в плодоносные, безлюдные пустыни населил, из сплавной реки сделал судоходную, промышленность поощрил, торговлю развил или приобрел новый шрифт для губернской типографии, и т.п., то о таких делах должно упомянуть с осторожностью, ибо сие не всякому доступно, и новый начальник самое упоминание об них может принять за преждевременное ему напоминание: и ты, дескать, делай то же. Но если отбывающий делал дела средние, как, например: тогда-то усмирил, тогда-то изловил, тогда-то к награде за отлично усердную службу представил, а тогда-то реприманд сделал, то о таких делах можно говорить со всею пространностью, ибо они всякому уму доступны, а следовательно, и новый начальник будет их непременно совершать. Все это опытный устроитель прощальных торжеств должен иметь в виду. В особенности же надлежит быть мудрым в таких случаях, когда оба начальника – и выбывающий, и вновь назначенный – налицо. Тут надобно быть осторожным не только в речах, но и в кушаньях и винах.

Итак, мы лишились нашего начальника. Уже за несколько дней перед тем я начинал ощущать жалость во всем теле, а в ночь, накануне самого происшествия, даже жена моя – и та беспокойно металась на постели и все говорила: «Друг мой! я чувствую, что с его превосходительством что-нибудь неприятное сделается!» Дети тоже находились в жару и плакали; даже собаки на дворе были.

Генерал наш был старик добрый, но еще годный. Назначен он был к нам еще при прежнем главноначальствующем (нынешний главноначальствующий хоть и любит старичков, но в гражданском состоянии, а не на службе, на службе же любит молодых чиновников, которые интересы тех гражданских старичков лучше, нежели они сами, поддержать в состоянии), но недолго повластвовал.

Сменили прежнего главноначальствующего, сменили и его. Несправедливость явная, потому что старик мне сам по секрету не раз впоследствии говорил:

«Не знаю, подлинно не знаю, за что от общения отметаюсь! если новое начальство новые виды имеет, то стоило только приказать – я готов!» И если при этом вспомнить, сколько этот человек претерпел прежде, нежели место свое получил, то именно можно сказать: великий был страстотерпец! Прежде всего, у начальника отделения в послушании был, да еще не у одного,

а у нескольких; по воскресеньям с праздником поздравлять ездил, по будням между тремя и четырьмя часами в департамент анекдоты рассказывать ходил! А в брюхе-то щелк! а на уме-то только и есть одна мысль: господи! векую!

Потом попал в передел к директору, ну, тут тоже сноровку надо иметь! ждет, бывало, сердечный, у двери кабинета, и не для того совсем, чтоб что-нибудь сообщить, а только чтобы показать, что готов, мол... хоть на куски! Ну, и пройдет директор, улыбнется: «Что, старик, готов?» – «Хоть в Астрахань, ваше превосходительство!» – «Гм... в Астрахань! туда Шарлотта Федоровна⁴ тоже об одном старичке просила!» – скажет директор и пройдет мимо.

Даже в кабинет к себе не допустит, выплакаться-то не даст. «Господи! векую!» – только и твердил, бывало, наш старик, покуда не подобрался наконец к Шарлотте Федоровне. Понравился он ей, впрочем, не чем другим, а именно только строгостью правил. И так пришлось по душе, что вместо Архангельска угодил к нам! Каково же, после этакого-то искуса, несколько лишь месяцев провластвовать, и вдруг – хлоп!

Первое известие о постигшем нас ударе я получил от вице-губернатора.

Еще невежественный, приехал я утром к нему и застал его расхаживающим взад и вперед по кабинету: по всей вероятности, он обдумывал, какая участь должна постигнуть нашу губернию. Наш вице-губернатор человек нравов придворных, и потому чувствительности большой не имеет, но и он был тронут.

– А знаете ли вы, что дурака-то нашего уволили? – спросил он меня с первого же слова.

В груди у меня словно оборвалось что-то. Не смея, с одной стороны, предполагать, чтобы господин вице-губернатор отважился, без достаточного основания, обзывать дураком того, кого он еще накануне честил вашим превосходительством, а с другой стороны, зная, что он любил иногда пошутить (терпеть не могу этих шуток, в которых нельзя понять, шутка ли это или испытание!), я принял его слова со свойственной мне осмотрительностью.

– Про какого это «дурака», ваше превосходительство, говорить изволите?

– спросил я, по силе возможности мягкостью тона умеряя резкость моего вопроса.

– Про какого? известно про какого! про нашего, про Шарлотты Федоровны выкормка!

Сердце в груди моей окончательно упало. Но не прошло минуты, как уж в голове моей созрел вопрос:

– А известно вашему превосходительству, кого на место их назначают?

При этом вопросе сердце мое мало-помалу поднималось: я начинал предчувствовать, что не буду оставлен без начальника.

– А назначают Удар-Ерыгина.

– Генерала-с?

– Генерала-с.

Сердце мое окончательно устало на своем месте, ибо я получил уверенность, что предчувствие мое сбылось.

– Из каких-с они? – спросил я несколько смелее.

– Из млекопитающих-с! – отвечал вице-губернатор (он вообще ужаснейший киник).

Мы оба задумались и стали в молчании ходить по кабинету (в первый раз в жизни я шел рядом с начальником, а не следовал за ним «петушком»: несчастье уравнивает все ранги).

– Я думаю, нужно будет старому начальнику прощальный обед устроить? – первый прервал я молчание.

– Гм... да... знаю я этого Удар-Ерыгина... знаю!

– Я думаю, ваше превосходительство, что можно и купцов пригласить какую-нибудь демонстрацию сделать?

⁴ Намек на Минну Ивановну Буркову, фаворитку министра двора В.Ф.Адлерберга.

– Гм... купцов... Однажды призывает меня этот Удар-Ерыгин к себе и говорит: «Я, говорит, по утрам занят, так вы ко мне в это время не ходите, а приходите каждый день обедать»...

– Так они и гостеприимные?

– Гм... да... гостеприимен... «Только, говорит, так как я за обедом от трудов отдыхаю, так люблю, чтоб у меня было весело. На днях, говорит, у меня, для общего удовольствия, правитель канцелярии целую ложку кайенского перцу в жидком виде проглотил».

– Преданность всякое испытание, ваше превосходительство, превозмочь может! – прервал я, невольно потупляя глаза.

– Подождите, не прерывайте меня. «Так вы, говорит, с этим соображайтесь»...

– И сообразовались, ваше превосходительство?

– И сообразовался-с.

Мы опять умолкли; я чувствовал, что на душе у меня смутно и что сердце опять начинает падать в груди, несмотря на то что сожаление о смене любимого начальника умерялось надеждою на присылку другого любимого начальника. И действительно, преданность моя рисковала подвергнуться страшному искушению: «А что, ежели он и меня кайенский перец глотать заставит!» – думал я, трепеща всеми фибрами души моей (ибо мог ли я поручиться, что физическая моя комплекция выдержит такое испытание?), и я уверен, что если бы вся губерния слышала рассказанный господином вице-губернатором анекдот, то и она невольно спросила бы себя: «А что, если и меня заставят глотать кайенский перец?»

– Только этим и замечателен новый начальник? – вновь прервал я молчание.

– Только этим и замечателен-с.

– Но, быть может, они снисходительны?

– Для тех, кто умеет глотать кайенский перец.

– Стало быть, ваше превосходительство...

– Находимся с его превосходительством в наилучших отношениях. Кстати, однако ж: ведь для дурака-то прощальный обед устроить следует...

– Это, ваше превосходительство, и для нового начальника будет поощрением...

– Ну да; будет, по крайности, видеть, что мы втуне не оставляем...

Я вышел на улицу и просто даже удивился. Представьте себе, что все стояло на своем месте, как будто ничего и не случилось; как будто бы добрый наш старик не подвергнулся превратностям судеб, как будто бы в прошлую ночь не пророс сквозь него и не процвел совершенно новый и вовсе нами не жданный начальник! По-прежнему, на паре бойких саврасенок, спешил с утренним рапортом полициймейстер («Вот-то вытянется у тебя физиономия, как узнаешь!» – подумал я); по-прежнему сломя голову летел Сеня Бирюков за какой-то помадой для Матрены Ивановны и издали приветливо махал мне шляпой; по-прежнему проклятые мужичонки во все горло галдели и торговались из-за копейки на базарной площади. Даже воздух был совершенно такой же, как вчера. Все это как-то странно подействовало на мои нервы, а ожесточенье бесчувственного мужичья до того меня озлобило, что я почел за нужное даже вмешаться.

– Что вы тут горло дерете! базар, что ли, здесь! – крикнул я, подходя к одной кучке.

– А не базар нешто! – отвечал мне один голос.

Я смутился, ибо сообразил, что и в самом деле стою на базаре.

– А знаете ли вы, мужичье проклятое, что у нас нынче ночью на всю губернию несчастье случилось?

Мужики глядели на меня с недоумением.

– Знаете ли вы, что его превосходительство, Анфима Евстратича, от должности уволили?

– О! де...

Но не успел дерзкий договорить, как уже рука моя исполняла свою обязанность.

– Да ведь поди новый на место его будет! новый будет! – кричал провинившийся.

Сначала я не слышал его объяснения и продолжал делать свое дело; но, признаюсь, когда слова «новый будет! новый будет!» явственно коснулись моего слуха, то рука моя невольно опустилась. И в самом деле, рассудил я, если нет старого, то это значит, что есть новый – и ничего больше. Из-за чего же тут меняться воздуху! из-за чего предметам, уже установившимся и, могу сказать, вросшим в землю, перескакивать с места на место! Вчерашняя смерть не содержит ли в себе зерна сегодняшнего возрождения? Вчерашнее помрачение не вознаграждается ли сегодняшним просветлением? Одним словом, я вынужден был дать гривенник напрасно обиженному мной поселянину и, успокоивши себя разными солидными размышлениями, отправился с визитом к закатившейся нашей звезде.

В приемной я застал правителя канцелярии и полицеймейстера; оба стояли понуривши головы и размышляли. Первый думал о том, как его сошлют на покой в губернское правление; второй даже и о ссылке не думал, а просто воочию видел себя съеденным.

– Вы читали бумагу? – спросил я правителя канцелярии.

– Читал, – отвечал он грустно.

– Но что же за причина?

– Да никакой причины не прописывается. Напротив того, даже похвалы нашему генералу примечаются. «Неутомимые, говорит, труды, на поприще службы с пользою понесенные»...

– И в заключение?

– А в заключение: «Расстроили, говорит, ваше здоровье и без того потрясенное преклонностью лет»...

– Ну, какая же это «преклонность лет»!

– Какая «преклонность лет»! и всего-то по формуляру семьдесят пять лет значится! в самой еще поре!

– Только бы управлять еще старику!

В это время к нам вышел сам закатившийся старик наш. Лицо его было подобно лицу Печорина: губы улыбались, но глаза смотрели мрачно; по-видимому, он весело потирал руками, но в этом потирании замечалось что-то такое, что вот, казалось, так и сдерет с себя человек кожу с живого.

– Наконец давнишнее желание моего сердца свершилось! – сказал он, обращаясь к нам.

– Весь город, ваше превосходительство... – начал было я.

– Наконец давнишнее желание моего сердца свершилось! – повторил он и остановился, чтобы перевести дух.

Я понял, что старик играет роль, но что роль эту он выучил довольно твердо.

– Нам остается утешаться, что новый наш начальник будет столь же распорядителен, как и ваше превосходительство! – сказал я, пользуясь паузой.

К удивлению, генерал был как будто сконфужен моею фразой. Очевидно, она не входила в его расчеты. На прочих свидетелей этой сцены она подействовала различно. Правитель канцелярии, казалось, понял меня и досадовал только на то, что не он первый ее высказал. Но полицеймейстер, как человек, по-видимому покончивший все расчеты с жизнью, дал делу совершенно иной оборот.

– Нет, уж позвольте! такого начальника у нас не было и не будет! – сказал он взволнованным голосом, выступая вперед.

– Благодарю! – сказал генерал.

– Ваше превосходительство! – продолжал полицеймейстер, уже красный как рак от душившего его чувства преданности.

– Благодарю!

Полицеймейстер ловил генеральскую руку, которую генерал очень искусно прятал; правитель канцелярии молчал и думал, что если его сошлют в судное отделение, то штука будет

еще не совсем плохая; я стоял как на иголках, ибо видел, что намерения мои совсем не так поняты.

– Я хотел только выразить, – пояснил я наконец, – что должности ваших превосходительств никогда не прекращаются и что провидение...

– Верю-с!

– Что провидение, осчастлививши нас однажды правителем, подобным вашему превосходительству, конечно, озаботится и на будущее время...

– Верю-с!

Сказавши это, его превосходительство удалился во внутренние комнаты; за ним последовали полициймейстер и правитель канцелярии; я же должен был с носом отправиться в переднюю.

В передней швейцар улыбался и спрашивал: когда будет новый генерал?

Часы, приобретенные для генеральского дома за пять генералов перед сим, стучали «тик-так! тик-так!» – как будто бы говорили: «Мы видели пять генералов! мы видели пять генералов! мы видели пять генералов!»

* * *

Оставалось, следовательно, отдать нашему генералу последний долг.

Избран был комитет из самых опытных по этой части обывателей; комитет, в свою очередь, избрал распорядителями торжества меня и Сеню Бирюкова. Для меня это дело привычное, потому что я не раз уж в своей жизни катафалки-то эти устраивал, но Сеня так возгордился сделанным ему доверием, что даже шею выгнул, словно конь седлстый, да в этаким виде и носился с утра до вечера по городу. Когда вопрос о кушаньях был подвергнут зрелому обсуждению, тогда сам собою возник вопрос о тостах и речах. Но это такой важный предмет, что я считаю необходимым сказать об нем несколько лишних слов.

В прежние времена разрешение этого вопроса не представляло никаких затруднений, ибо в прежние времена все говорили вдруг. Один из распорядителей выступал на средину, провозглашал тост: «За здоровье его превосходительства!» – и все дружно подхватывали: «Прощайте, ваше превосходительство!», «Ура, ваше превосходительство!» Его превосходительство, в свою очередь, обходил кругом стола и говорил: «Нижайше вам кланяюсь, господа!», «Усерднейше вас благодарю, почтенные мои сослуживцы!» И, смотря по степени воодушевления, или плакал, или просто только утирал глаза. И таким образом, за общим шумом, ничего понять было нельзя. Конечно, эта форма изъявления чувств была не совсем правильная, но зато она была трогательна и искренна. Но нынче и этому делу дали совершенно иной оборот. С тех пор как «Русский вестник» доказал, что слово «конституция», перенесенное на русскую почву, есть нелепость, или, лучше сказать, что в России конституционное начало должно быть разлито везде, даже в трактирных заведениях, мы решили, что и у нас, на наших скромных торжествах тоже должно быть разлито конституционное начало. Начало это, как известно, состоит в том, что один кто-нибудь говорит, а другие молчат; и когда один кончит говорить, то начинает говорить другой, а прочие опять молчат; и таким образом идет это дело с самого начала обеда и до тех пор, пока присутствующие не сделаются достаточно веселы. Тут-то, собственно, и начинается настоящая конституция, ибо все, что происходит прежде, считается только предварительным к ней приготовлением. По-видимому, самое лучшее было бы прямо начать с настоящей конституции, однако этого сделать нельзя, во-первых, потому, что надобно, чтоб все происходило по порядку, а во-вторых, потому, что предварительные действия освещают путь для предстоящей веселой конституции и служат для нее руководящею нитью.

Понятно, что при таких условиях встречается необходимость в людях, которые умели бы говорить даже в такое время, когда другие молчат; но понятно также, что это положение

совершенно проклятое и что люди скромные принимают его весьма неохотно. Это почти то же, что в одиночку публично производить какое-нибудь предосудительное отправление, когда никто кругом никаких предосудительных отправлений не производит. А потому выбор людей для произношения тостов и спичей всегда сопрягается с затруднениями очень серьезными, и обязанность эта представляется такою повинностью, наряд на которую почти равносильна наряду на барщину.

На этот раз ораторами выбраны были: вице-губернатор – от лица чинов пятого класса, советник губернского правления Звенигородцев – от лица всех прочих чинов, Сеня Бирюков – от лица молодого поколения и, наконец, командир гарнизонного батальона – от имени воинского сословия.

Полициймейстер до того разревновался, что вызвался сказать сверхштатную речь от лица полиции. Разумеется, все они тотчас же отправились домой и занялись чтением «Московских ведомостей», дабы ближе ознакомиться с политическим положением России и усвоить себе некоторые необходимые в красноречии обороты.

Но главным украшением прощального обеда должен был служить столетний старец Максим Гаврилыч Крестовоздвиженский, который еще в семьсот восемьдесят девятом году служил в нашей губернии писцом в наместнической канцелярии. Идея пригласить к участию в празднике эту живую летопись нашего города, этого свидетеля его величия и славы, была весьма замечательна и, как увидим ниже, имела совершенный и полный успех.

Я не стану описывать действий депутации, на которую возложено было приглашение генерала к прощальному обеду. Ничего замечательного при этом не произошло, кроме того, что отъезжающий прослезился и заверил депутацию, что будет непременно. Приступлю прямо к описанию торжественных минут прощанья.

В три часа пополудни мы собрались в нарочно приготовленной для того зале. Некоторые тотчас же выпили водки. Все вообще, по-видимому, уже освоились с мыслью о предстоящей разлуке и потому держали себя совсем не так, как бы торжество прощанья того требовало, а так, как бы просто собрались выпить и закусить; один правитель канцелярии по временам еще вздрагивал. В четыре часа отъезжающий прибыл в залу, сопровождаемый двумя ассистентами, и все присутствующие тотчас же сгруппировались вокруг него.

Начались пожатия рук, причем впопыхах генерал удостоил пожатия даже клубного лакея Федора и тут же очень мило сам рассмеялся своей ошибке. В ожидании закуски образовался непринужденный разговор; генерал в особенности одобрял действия наших войск⁵ и настаивал на том, чтобы зло пресечь в самом корне.

– Но для этого, ваше превосходительство, нужны деятели, – сказал полициймейстер, – а мы видим...

– В деятелях русскому царству никогда недостатка нет и не будет, – любезно прервал его генерал и таким образом очень кстати замял этот неполитичный разговор.

За столом все разместились по старшинству без особенных затруднений; только оператор врачебной управы (несколько уже выпивший) заупрямился сесть на конец стола на том основании, что будто бы ему будут доставаться плохие куски, но и это недоразумение было улажено положительным удостоверением, что кушанья наготовлено слишком достаточно, чтобы могли иметь место подобного рода опасения. Генерал держал себя с твердостью и достоинством, но когда подали суп, то невольная слеза капнула из его глаз в тарелку. После супа следовал первый тост. Вице-губернатор встал и, когда все умолкло, произнес:

⁵ Намек на действия военного губернатора Северо-Западного края генерала М.Н.Муравьева, жестоко подавлявшего воинскими силами восстания в Литве и Белоруссии в 1863 году.

– Ваше превосходительство! один древний сказал: *Timeo Danaos et dona ferentes!*^[6] Это значит: опасаясь данайцев даже тогда, когда они приходят с дарами...

Кругом раздается одобрительный шепот; советник Звенигородцев бледнеет, потому что «*Timeo Danaos*» было включено и в его речь; он обдумывает, как бы вместо этой цитаты поместить туда другую: «*sit venia verbo*» (*да будет позволено сказать*); оператор врачебной управы вполголоса объясняет своему соседу: «*timeo* – боюсь, а не опасаясь; *et dona ferentes* – и дары приносящих, а не „даже тогда, когда они приходят с дарами“; следовательно, „боюсь данайцев и дары приносящих“ – вот как по-настоящему перевести следует». Но вице-губернатор не слышит этого зловредного объяснения и, ободряемый общим вниманием, продолжает:

– ...с дарами. Но здесь, ваше превосходительство, вы изволите видеть не «данайцев», приходящих к вам с дарами, а преданных вам подчиненных, приносящих вам, – и не те дары, о которых говорит древний, – а дары своего сердца.

– Отлично! великолепно! – раздается кругом; отъезжающий тронут, оратор куражится.

– ...своего сердца. В особенности скажу я это о тех, от имени которых обращаю к вашему превосходительству прощальное слово (оратор окидывает взором небольшое пространство стола, усеянное чинами пятого класса; отъезжающий кланяется и жмет руки соседям; управляющий удельной конторой лезет целоваться: картина). Эти дары, ваше превосходительство, можете принять с полной уверенностью, что в них нет ни орсиниевских гранат^[7], ни других разрывающих составов. Я принял на себя сладкую, но трудную обязанность, ваше превосходительство! Я принял обязанность в устном слове изобразить перед вашим превосходительством эти скромные, но горячие дары, которые безмолвно, но красноречиво пламенеют в наших сердцах. Я не боюсь упреков: зоилы и свистуны стоят ниже меня...

– Браво! браво! урра! – раздается кругом.

– Зоилы и свистуны стоят ниже меня. Но, во всяком случае, ваше превосходительство, не заподозрите меня, если я скажу: дары, которые приносятся здесь вашему превосходительству, суть дары сердца, а не те дары, о которых говорил «древний». Ура!

Вице-губернатор умолк; на средину залы вывели под руки «столетнего старца», который заплакал. Отъезжающий был так тронут, что мог сказать только:

– Успокойте старика! успокойте старика!

«Столетнего старца» увели; подали ростбиф; Звенигородцев, чувствуя приближение минуты, дрожал как в лихорадке. Наконец он встал с бокалом в руке против виновника торжества и произнес:

– Ваше превосходительство! Еще недавно ваше превосходительство, не изволив утвердить журнал губернского правления о предании за противозаконные действия суду зареченского земского исправника, извоили сказать следующее: «Пусть лучше говорят про меня, что я баба, но не хочу, чтоб кто-нибудь мог сказать, что я жестокий человек!» Каким чувством была преисполнена грудь земского исправника при известии, что он от суда и следствия учинен свободным, – это понять нетрудно. Гораздо труднее понять чувства, волновавшие при этом нас, подписавших упомянутый выше журнал.

Нечего и говорить о том, что мы приняли решение вашего превосходительства к неременному исполнению; этого мало: предоставленные самим себе, мы думали, что этого человека мало повесить за его злодеяния, но, узнавши о ваших начальнических словах, мы вдруг постигли всю шаткость человеческих умозаключений и внутренне почувствовали себя просветленными...

– Браво! прекрасно! вот истинные отношения подчиненных к начальникам!

⁶ Из «Энеиды» Вергилия, II, 49; слова жреца Лаокоона, заподозрившего коварство осаждавших Трои данайцев, оставивших у стен города огромного деревянного коня, в котором были спрятаны войска.

⁷ Стремление поднять национально-освободительное движение в Италии привело известного участника этого движения Феличе Орсини на путь индивидуального террора. 14 января 1858 года он бросил гранату («бомбу») в карету Наполеона III.

– Мы поняли, что истинное искусство управлять заключается не в строгости, а в том благодушии, которое, в соединении с прямотушием, извлекает дань благодарности из самых черствых и непреклонных, по-видимому, сердец. Эта невольная дань несется к вашему превосходительству не только от лиц, здесь присутствующих, но и от всей губернии. Да, не одно благодарное сердце бьется в настоящую минуту в безвестности! не один выпрепанный ум содрогается при мысли о предстоящей разлуке! Но для того, чтобы доказать справедливость моих слов, считаю нелишним изложить здесь вкратце прохождение службы вашего превосходительства.

Оратор на мгновение останавливается, чтобы перевести дух, и затем продолжает:

– Начав служебное поприще в инспекторском департаменте военного ведомства, ваше превосходительство, после двадцати лет беспорочной службы, перешли в инспекторский департамент гражданского ведомства. Здесь вы служили до тех пор, пока новые идеи не потребовали присоединения этого департамента к департаменту герольдии. Во все это время на вашем превосходительстве лежала самая трудная обязанность – обязанность редактировать и держать корректуру общего приказа. По уничтожении инспекторского департамента гражданского ведомства, ваше превосходительство поступили в комитет призрения гражданских чиновников, где прохождение вашей службы простиралось до восьми лет. Затем ваше превосходительство целых три года состояли при департаменте на испытании, целых три года с отличием и усердием исполняли возлагаемые на вас трудные поручения и только умудренные опытом решились прибыть к нам. У нас прохождения вашей службы было всего шесть месяцев и пять дней, но и этого краткого периода времени было достаточно, чтобы дать почувствовать, что нами руководит опытная рука...

При этих словах раздается гром рукоплесканий, и восторженное «ура!» потрясает стены залы. Даже лакеи взволновались. Управляющий удельной конторой опять идет целоваться.

Оратор продолжает:

– Прибывши к нам, ваше превосходительство не посетили ли городов нашей губернии? Посетивши города, не обревизовали ли во всей подробности наши присутственные места? Предложение об этом предмете вашего превосходительства, по которому губернским правлением в свое время уже сделано надлежащее распоряжение, не останется ли вечным памятником вашей распорядительности и вашей проницательности? Отеческим сердцем вы изволили отнестись ко всем нашим недугам и слабостям; от взора вашего не укрылось ни то, что наши земские суды не пользуются соответствующими помещениями, ни то, что города наши до сих пор остаются незамощенными. Все это вы поставили губернскому правлению на вид, и все это должно на будущее время служить этому высшему в губернии присутственному месту (вице-губернатор охорашивается, прочие председатели завистливо, но сомнительно улыбаются) путеводной звездой, к которой имеют устремляться его административные усилия. За все это: дань благодарности вашему превосходительству! Дань благодарности от всех неиспорченных сердец, той благодарности, о которой сейчас так красноречиво выразился мой достойный начальник (вице-губернатор) и которую, ваше превосходительство, можете принять без всяких опасений, ибо здесь нельзя (крики кругом: «Да, нельзя, нельзя!») даже сказать подобно «древнему»: *timeo Danaos et dona ferentes*. Ура!

Смута, произведенная этою речью, была так велика, что никто даже не обратил внимания, как «столетний старец» вышел на середину залы и прослезился. Всех поразила мысль: вот человек, который с лишком тридцать шесть лет благополучно служил по инспекторской части и в какие-нибудь шесть месяцев погиб, оставив ее! Пользуясь этим смятением, одна маститая особа сказала речь, хотя и не была записана в числе ораторов. Потрясая волосами, особа произнесла:

– Гражданин преестественный! сын церкви достолюбезный! Являешь мудрость! являешь кротость! Две зари в природе: заря восходящая и заря заходящая – так же и у человека. Мужайся! В лепоте к нам пришел, в лепоте и отходишь! И да сопутствует...

Последние слова были заглушены обычным «ура». Этим же смятением воспользовался и полицеймейстер, чтобы наскоро сказать свою речь без очереди.

– Ваше превосходительство! – сказал он, – я не умею говорить, но всегда скажу: вы заставили уважать полицию!

Волнение насилие стихло; очевидно, что приближалась торжественная минута «настоящей конституции». Подали и съели огромнейшую рыбу. На сцену выступил Сеня Бирюков, в сопровождении всей нашей блестящей молодежи, с отличием занимающей места чиновников особых поручений, мировых посредников и судебных следователей. Одним словом, все наше «воинство возрождения» было тут налицо.

– Ваше превосходительство! – начал Сеня, – я не оратор...

– Я коллежский регистратор, – очень явственно прошипел оператор врачебной управы, бывший уж очень близко к «конституции».

– Шш!.. – пронеслось по зале.

– Я не оратор, но не могу не сказать нескольких слов о теплом участии, которое вы принимали в благотельных учреждениях последнего времени. На ваших глазах совершился ужаснейший переворот, которому когда-либо был свидетелем изумленный мир. Перед вашим превосходительством были две стороны, но вы не склонились ни на ту, ни на другую. Перед вашим превосходительством были две дороги, но вы не пошли ни по той, ни по другой. Результаты деятельности вашего превосходительства еще не видны, но они будут. Приветствуя вас от лица нашего молодого поколения, я могу прибавить одно: приветствие это есть дань сердца, которую, ваше превосходительство, можете принять со всею безопасностью. Как выразились мои уважаемые предшественники, вы не имеете даже повода сказать в этом случае *timeo Danaos et dona ferentes*, потому что здесь всякий приносит дары свои от чистого сердца. Ура!

– Ура! ура! ура! – дружно грянуло молодое поколение, потрясая бокалами.

Генерал потупился; он скромно сознавал в эту минуту, что успел угодить всем. Но настроение умов постепенно принимало направление к веселости; на многих пунктах стола громко раздавались требования, чтоб оркестр сыграл что-нибудь русское; советник казенной палаты Хранилов лил на стол красное вино и посыпал залитое пространство солью, доказывая, что при этой предосторожности всякая прачка может легко вывести из скатерти какие угодно пятна; правитель канцелярии уже не вздрагивал, но весь покрылся фиолетовыми пятнами – явный признак, что он был близок к буйству. Одним словом, во избежание неожиданностей, я, как распорядитель, должен был просить батальонного командира, чтоб он сказал свою речь как можно скорее и как можно короче, что он, к общему удовольствию, и исполнил.

– Ваше превосходительство! – сказал он, – буду краток, чтоб не задерживать драгоценные ваши часы. Я не красноречив, но знаю, что когда понадобилось отвести для батальона огороды – вы отвели их; когда приказано было варить для нижних чинов пищу из общего котла – вы приказали приобрести эти котлы в лучшем виде. Вверенный мне батальон имеет честь благодарить за это ваше превосходительство. Ура!

Этою речью заключилась первая часть нашего торжества. Затем уже началась так называемая конституция, которую я не стану описывать, потому что, по мнению моему, все проявления, имеющие либеральный характер, как бы преданны они ни были, заключают в себе одно лишь безобразие...

* * *

На другой день я посетил помещение, в котором происходило прощальное торжество. На полу валялись объедки, скатерть пестрела пятнами, целая масса прогорклого дыма висела над столами. Сердце мое сжалось...

Старый кот на покое

Новый начальник либеральничает, новый начальник политиканит, новый начальник стоит на страже. Он устраивает союзы, объявляет войны и заключает мир. Одно допускает, другое устраняет. Принимая в соображение одно, не упускает из вида и другое, причем нелишним считает обратить внимание и на третье. В отношении одних действует мерами благоразумной кротости; в отношении других употребляет спасительную строгость. Он пишет обширнейшие циркуляры, в которых призывает, поощряет, убеждает, надеется, а в случае нужды даже требует и угрожает. Одним словом, создает новую эру.

В согласность с ним настраивается и подначальный люд. Несутся сердца, задаются пиры и банкеты в честь виновника торжества; языки без всякого опасения предаются благодетельной гласности; произносятся спичи и тосты; указываются новые невинные источники народного благосостояния, процветания и развития; выражаются ожидания, упования и надежды, которые, при помощи шампанского, из области упований *crescendo* (*разрастаясь*) переходят в твердую и непоколебимую уверенность.

Даже дамы не остаются праздными; они наперерыв устраивают для нового начальника спектакли, шарады и живые картины; интригуют его в маскарадах; выбирают в мазурке и при этом выказывают такое высокое чувство гражданственности, что ни одному разогорченному супругу даже на мысль не приходит произнести слово «бесстыдница» или «срамница».

Среди этого всеобщего гвалта, среди этого ливня мероприятий, с одной стороны, и восторгов – с другой, никто не замечает, что тут же, у нас под боком, увядает существо, которое тоже (и как недавно!) испускало из себя всевозможные мероприятия и тоже было предметом всякого рода сердценесений, упований, переходящих в уверенность, и уверенностей, покоящихся на упованиях.

Да; он не оставил нас, наш добрый старый начальник; он поселился тут же, вместе с достойною своею супругой Анной Ивановной, в подгородном своем имении, и там, на лоне природы-матери, употребляет все усилия, чтобы блаженствовать. Конечно, злые языки распускают, будто внутри у него образовалась целая урна слез, будто слезы эти горячими каплями льются на сердце старика и вызывают на его лицо горькие улыбки и судорожные подергиванья; но я имею все данные утверждать, что слухи эти неосновательны. Я сам посетил его в благоприобретенном селе Обиралове (и даже не скрыл этого от нового начальника) и собственными глазами убедился, что он точно блаженствует. Он с беспечным видом ходит по полям и лугам; он рвет цветочки и плетет из них венки; он питается исключительно молочными скопами⁸; он вступает в непринужденный разговор с добродушными поселянами и поголовно называет их друзьями... Каких доказательств блаженства еще надо?

Коли хотите, в нем действительно произошла некоторая перемена: глаза не мешут, нос не угрожает, уста не изрыгают, длани не устремляются. Коли хотите, нет недостатка и в подергиваньях, и в горьких улыбках... Но, по мнению моему, эта перемена произошла совсем не вследствие уныния, а оттого единственно, что добрый старик, вышедши в отставку, приобрел опасную привычку слишком часто поднимать завесу будущего. При таком непрерывном поднимании довольно трудно обойтись без подергиваний (я знал одного мудреца, который даже зажимал нос, как только приходилось поднимать завесу будущего). Сам старик в этом сознается и даже довольно картинно выражает плоды своих наблюдений по этому предмету.

– Да-с, – говорит он, – я озабочен-с. Посмотришь в эту закрытую для многих книгу, увидишь там все такое несообразное. Не человеческие лица, а рыла-с... кружатся... рвут друг друга, скалят зубы-с. Неутешительно-с.

⁸ Молочные скопы – устаревшее название молочных продуктов (сливки, сметана, творог и т.д.).

Итак, вот единственное облако, которое омрачает тихий вечер отставного администратора; во всех прочих отношениях он блаженствует. Он охотно смешивает либерализм с сокращением переписки⁹, и когда однажды у нас зашла речь о постепенном шествии вперед на пути гражданственности и устности:

– Это еще при мне началось, – сказал он, – в то время я осмелился подать следующий совет: если позволительно так думать, сказал я, то предоставьте все усмотрению главных начальников!

– А что вы думаете? Ведь и в самом деле это значительно сократило бы переписку! – заметил я.

– Значительно-с, – отвечал он с одушевлением, очевидно намереваясь сообщить дальнейшее развитие этой занимательной теме, но вдруг замолк, как бы опасаясь проронить государственную тайну.

Вообще о делах внутренней и внешней политики старик отзывается сдержанно и загадочно. Не то одобряет, не то порицает, не забывая, однако ж, при каждом случае прибавить: «Это еще при мне началось», или: «Я в то время осмелился подать такой-то совет!»

– Отчего же мнение вашества не было принято в уважение? – иногда спрашивают его веселые собеседники.

– А оттого-с, что нынче старых слуг не уважают! – отвечает он с некоторою скорбью, но вслед за тем веселенько прибавляет:

– Да, пора! давно пора было мне отдохнуть!

О новом начальнике старик или вовсе умалчивает, или выражается иносказательно, то есть начинает, по поводу его, разговор о древнем языческом боге Меркурии, прославившемся не столько делами доблести, сколько двусмысленным своим поведением¹⁰, и затем старается замять щекотливый разговор и обращает внимание собеседников на молочные скопы и другие предметы сельского хозяйства.

Однажды зашла речь о пожарах, и некоторый веселый собеседник выразил предположение, что новый начальник, судя по его действиям, должен быть, по малой мере, скрытный член народного жонда¹¹.

– Не отрицаю-с, – скромно заметил благодушный старик, – но не смею и утверждать-с. Скажу вам по этому случаю анекдот-с. Однажды, когда князь Петр Антоныч требовал, чтобы я высказал ему мое мнение насчет сокращения в одном ведомстве фалд, то я откровенно отвечал: «Ваше сиятельство! и фалды сокращенные, и фалды удлиненные – мы все примем с благодарностью!» – «Дипломат!» – выразился по этому случаю князь и изволил милостиво погрозить мне пальцем. Так-то-с.

Даже против реформ, или – как он их называл – «катастроф», старик не огрызался; напротив того, всякое новое мероприятие находило в нем мудрого толкователя. Самые земские учреждения¹² и те не смутили его. Конечно, он сначала испугался, но потом вник, взвесил, рассудил... и простил!

– Так, вашество, одобряете? – спрашивают его иногда собеседники.

– Одобряю-с, – отвечает он, – сначала, конечно... опасался-с; но теперь... одобряю-с!

– Чего же собственно, вашество, опасаться изволили?

⁹ В 1859 году при Министерстве внутренних дел был учрежден Комитет по сокращению делопроизводства и переписки. Консервативные круги чиновничества отнеслись к учреждению и деятельности Комитета, просуществовавшего до 1861 года, как к опасному либерализму, ведущему к потрясению бюрократических основ.

¹⁰ Бог торговли у древних римлян Меркурий вместе с тем был божеством всякой хитрости и обмана.

¹¹ Пожары 1862 года в Петербурге, а также в ряде губернских городов, в том числе и в Пензе, некоторая часть общественного мнения и печати приписывала «нигилистам» и «польской интриге». Жонд народowy (Rząd narodowy – Национальное правительство) – центральный коллегиальный орган повстанческой власти во время польских национально-освободительных восстаний 1830-1831, 1846 и 1863-1864 годов.

¹² Земские учреждения – созданные в России в 1864 году выборные органы самоуправления.

– Упразднения власти-с!

– А теперь одобряете?

– Теперь одобряю-с. На этот счет доложу вам вот что-с. С блаженной памяти государя Петра Алексеевича история русской цивилизации принимает характер, так сказать, пионерный. Являются, знаете, одни за другими пионеры. Расчищают, пролагают, прорубают, строят, ломают и опять, строят... одним словом, ведут жизнь деятельную. Сперва губернаторы, прокуроры, экономии директора, капитан-исправники – это, так сказать, пионеры первобытные. Потом-с, окружные начальники, воспитанники училища правоведения, акцизные чиновники, контрольные чиновники, мировые посредники – это уже пионеры второй формации, пионеры с утонченными чувствами и деликатными манерами. Наконец, земство-с.

– Стало быть, и Василий Петрович, и Николай Дмитрич – все это пионеры?

– Пионеры-с, и больше ничего.

После такого толкования слушателям не оставалось ничего более, как оставить всякие опасения и надеяться, что не далеко то время, когда русская земля процивилизуется наконец вплотную. Вот что значит опытность старика, приобретшего, по выходе в отставку, привычку поднимать завесу будущего!

Таким образом, тихо и неслышно текут дни благодушного старца, еще недавно удивлявшего мир своею распорядительностью. В обхождении он кроток и как-то задумчиво-сдержан; на исправника глядит благосклонно, как будто говорит: «Это еще при мне началось!», с мировым судьей холодно-учтив, как будто говорит: «По этому предмету я осмелился подать такой-то совет!» В одежде своей он не придерживается никаких формальностей и предпочитает белый цвет всякому другому, потому что это цвет угнетенной невинности.

Однажды даже он отпустил себе бороду, в знак того, что и ему не чуждо «сокращение переписки»^[13], но скоро оставил эту затею, потому что князь Петр Антоныч, встретивши его в этом виде, сказал: «Эге, брат, да и ты, кажется, в нигилисты попал!» Вообще, он счастлив и уверяет всех и каждого, что никогда так не блаженствовал, как находясь в отставке.

* * *

Каждый день утром к старику приезжает из города бывший правитель его канцелярии, Павел Трофимыч Кошельков, старинный соратник и соархистратиг^[14], вместе с ним некогда возжегший административный светильник и с ним же вместе погасивший его. Это гость всегда дорогой и всегда желанный: от него узнаются все городские новости, и, что всего важнее, он же, изо дня в день, поведывает почтенному старцу трогательную повесть подвигов и деяний того, кто хотя и заменил незаменимого, но не мог заставить его забыть.

Утро; старик сидит за чайным столом и кушает чай с сдобными булками;

Анна Ивановна усердно намазывает маслом тартинки, которые незабвенный проглатывает тем с большею готовностью, что, со времени выхода в отставку, он совершенно утратил инстинкт плотоядности. Но мысль его блуждает инде; глаза, обращенные к окошкам, прилежно испытуют пространство, не покажется ли вдали пара саврасок, влекущая старинного друга и собеседника. Наконец старец оживляется, наскоро выпивает остатки молока и бежит к дверям.

– Ну-с, что новенького? – спрашивает он после первых взаимных приветствий.

– Мостит базарную площадь-с.

– Как? Кто?

¹³ Ношение бороды чиновниками было не принято (при Николае I даже запрещено). Среди людей образованной части общества бороду носили либо чиновники, вышедшие в отставку, либо лица так называемых свободных профессий – литераторы, художники, музыканты, почему она и ассоциировалась с либерализмом.

¹⁴ Соархистратиг – совоитель (архистратиг – военачальник).

– Новый-с.

Известие это поражает изумлением. Старик многое предвидел, многое предсказал; но этого ни предвидеть, ни предсказать не мог.

– Признаюсь! – произносит он не без смущения, – признаюсь!

– Да и мы-таки подивились! – поддакивает Павел Трофимыч.

Не то чтобы идея о замощении базарной площади была для старика новостью; нет, и его воображение когда-то пленялось ею, но он оставил эту затею (и не без сожаления оставил!), потому что из устных и письменных преданий убедился, что до него уже семь губернаторов погибло жертвою этой ужасной идеи.

– Но предвидел ли он, этот безрассудный молодой человек, те непреодолимые трудности, даже опасности, с которыми связано подобное предприятие?

– Сказывали-с; Яков Астафьич даже примеры представляли-с...

– Ну?

– Остался непреклонен-с.

Начинаются сетования и соболезнования; рассказывается история о погибших губернаторах, и в особенности приводится в пример некоторый Иван Петрович, который все совершил, что смертному совершить доступно, то есть недоимки собрал, беспокойных укротил, нравственность водворил, и даже однажды высек совсем неподлежаще одного обывателя, но по вопросу о мостовых сломился, был отрешен от должности и умер в отставке, не выслужив пенсии.

– А я так вот выслужил! Мостовых не строил, а пенсию выслужил! – прибавляет благодушный старец.

– Раненько, вашество, тяготы-то с себя снять изволили! – льстит Павел Трофимыч.

– Я?... Что ж?... Я послужить готов!.. Я, мой любезный Павел Трофимыч...

Меня этими мостовыми не удивить! Я не только перед мостовыми, но даже перед тротуарами не дрогну! Только надо к этому предмету осторожно, мой милый... Ой, как осторожно надо подступить!

– Что говорить, вашество! с осторожностью и гору просверлить можно!

– Это так. Потому, сегодня стукнешь – ямочка, завтра стукнешь – ан она глубже, – послезавтра – и еще глубже! Так-то, мой любезный!

В таких разговорах незаметно летит время до обеда, после чего Кошельков отправляется обратно в город за свежим запасом новостей.

На другой день та же обстановка и тот же дорогой гость. Оказывается, что «новый» переломал в губернаторском доме полы и потолки.

Старик делается серьезен, почти строг.

– А знает ли он, этот безрассудный молодой человек, – говорит он, – что в этом доме до него жили тридцать три губернатора! и жили, благодарение богу, в изобилии!

На третий день Павел Трофимыч повествует, что «новый», прибыв в некоторое присутственное место, спросил книгу, подложил ее под себя^[15] и затем, бия себя в грудь, сказал предстоявшим:

– Я вам книга, милостивые государи! Я – книга, и больше никаких книг вам знать не нужно!

Старик начинает колебаться. Он начинает подозревать, что в «безрассудном молодом человеке» не все сплошь безрассудства, но, по временам, являются и признаки мудрости.

¹⁵ Некоторое присутственное место – губернское правление, высшее правительственное учреждение в губернии, официально возглавлявшееся губернатором, а фактически руководимое вице-губернатором. Книга – Свод законов Российской империи.

– Дай бог! – говорит он, – дай бог! Но все-таки скажу: осторожность, мой любезный! Ой, как нужна осторожность!

На четвертый день – опять то же посещение; оказывается, что «новый» выбрал себе в «помпадурши» жену квартального Толоконникова.

Чело старика проясняется; в голове его шевелятся веселые мысли.

– А что ты думаешь, любезный! – говорит он, – ведь он... тово! ведь он бабенку-то... тово!

– Толоконников уж и шинель с бобрами себе построил-с!

– В знак удовлетворенья... это так! Я полагаю даже, что он его куда-нибудь в советники... Потому, мой любезный, что это, так сказать, общая наша слабость, и... должен признаться... приятнейшая, брат, эта слабость!

– Уж чего же, вашество, лучше!

– То-то, любезный друг! ты пойми! Насчет этого нельзя так легко говорить! Уж на что я к Анне Ивановне привязан, а тоже, бывало, завидишь этакую помпадуршу – чай, помнишь?

– Как не помнить-с! Только раненько, вашество, тяготы-то эти сбросить с себя изволили!

– Что ж, я послужить готов!.. А он... тово! он, я тебе скажу, эту бабенку... это – верно!

Наконец в одно прекрасное утро приезжает Павел Трофимыч и смотрит не то загадочно, не то торжественно.

– Ну-с, что еще напроказили? – спрашивает старик, по обыкновению.

– Недоимки собирает!!!

– Сам собирает?

– Сам-с.

– И сечет?

– И сечет-с (Кошельков, очевидно, врет, но делает это в тех видах, чтобы известие подействовало на старика как можно живительнее).

При этом известии с отставным начальником совершается нечто необыкновенное. Он как бы впадает в восторженное забытие; ему мнится, что он куда-то въезжает на белом коне, что он облачен в светозарные одежды; что сзади его мириада исправников, сотских, десятских, а перед ним на коленях толпа...

– Даже баб сечет-с! – окончательно прилывает Павел Трофимыч, видя успех своей стратегии.

– Бац! бац! – ни с того ни с сего вдруг восклицает старик. – Так ты говоришь, и баб?

– Точно так, вашество, потому что эти бабы...

– Бац! бац!

Старик быстрыми шагами ходит по комнате, делая движение рукой сверху вниз.

– А знаешь ли, что я тебе скажу! – говорит он, останавливаясь с размаху перед своим собеседником.

– Что, вашество, приказать изволите?

– Он... молодец!

* * *

По вечерам старец пишет свои мемуары, или, как он называет, «воспоминания о бывшем, небывшем и грядущем». Он занимается этим в величайшем секрете, так что только Анна Ивановна, Павел Трофимыч да я знаем, чему посвящает свои досуги бывший глубокомысленный администратор.

– Я, мой милый, фрондер! – так всегда начинает он, когда решается прочесть нам какой-нибудь отрывок из своих мемуаров. – По выражению старика Державина:

Я истину царям с улыбкой говорил...^[16]

– Ну, и почтен был за это в свое время... А нынче, друзья мои, этого не любят! Нынче нашего брата, фрондера, за ушко Да на солнышко... за истину-то! Вот, когда я умру... тогда отдайте все Каткову! Никому, кроме Каткова! хочу лечь рядом с стариком Вигелем^[17].

Некоторые выдержки из этих мемуаров столь любопытны, что я не могу воздержаться, чтобы не поделиться ими с любезным читателем. Вот, например, как описывает благодушный старец свое назначение в помпадуры:

«В 18.. году, июля 9-го дня, поздно вечером, сидели мы с Анной Ивановной в грустном унынии на квартире (жили мы тогда в приходе Пантелеймона, близ Соляного Городка, на хлебах у одной почтенной немки, платя за все по пятьдесят рублей на ассигнации в месяц – такова была в то время дешевизна в Петербурге, но и та, в сравнении с московскою, называлась дороговизною) и громко сетовали на неблагоприятность судьбы.

Как вдруг раздается у дверей громкий и продолжительный звонок, и слышим, что кем-то произносится мое имя и чин действительного статского советника (тогда уж я был оным). Предчувствуя в судьбе своей счастливую перемену, наскоро запахиваю халат, выбегаю и вижу курьера, который говорит мне:

«Ради Христа, ваше превосходительство, поскорее поспешите к его сиятельству, ибо вас сделали помпадуром!» Забыв на минуту расстояние, разделявшее меня от сего доброго вестника, я несколько раз искренно облобызал его и, поручив доброй сопутнице моей жизни угостить его хорошим стаканом вина (с придачею красной бумажки)^[18], не поехал, а, скорей, полетел к князю. И действительно, был принят от его сиятельства с отменною ласкою. Поздравив меня с высоким саном и дозволив поцеловать себя в плечо (причем я, вследствие волнения чувств, так крепко нажимал губами, что даже князь это заметил), он сказал: «Я знаю, старик (я и тогда уже был оным), что ты смиренномудрей и предан, но, главное, об чем я тебя прошу и даже приказываю, – это: обрати внимание на возрастающие успехи вольномыслия!» С тех пор слова сии столь глубоко запечатлелись в моем сердце, что я и ныне, как живого, представляю себе этого сановника, высокого и статного мужчину, серьезно и важно предостерегающего меня против вольномыслия! Нечего и говорить, в каком я вышел от князя настроении; дождливая и довольно темная ночь показалась мне светлее радостного утра, а Невский проспект, через который пришлось мне проходить, – эдемом, в коем все приглашало меня к наслаждению. И действительно, я зашел в кофейную Амбиеля (в доме армянской церкви) и на двугривенный приобрел сладких пирожков (тогда двугривенный стоил в Петербурге восемьдесят копеек на ассигнации, в Москве же ценность его доходила до рубля) и разделил их с доброю своею подругой. На другой день явился к нам откупщик и предложил свои услуги^[19]. И таким образом наше грустное уныние превратилось в веселую и невинную радость. Так совершился сей достопримечательнейший в жизни моей факт, коего подробности и доднесь запечатлены в моей памяти. Сначала я был назначен в Вятку, потом, постепенно возвышаясь, достиг, наконец, Саратова, где нахожусь и ныне, пребывая хотя и в отставке, но с полным пенсионом».

Или вот еще эпизод, изображающий собственно административную деятельность благодушного старца:

¹⁶ Неточная цитата из стихотворения Г.Р.Державина «Памятник» (1795). У Державина: «И истину царям с улыбкой говорить».

¹⁷ «Записки» Ф.Ф.Вигеля, которые отчасти Салтыков-Щедрин пародирует в мемуарах «помпадура», печатались в катковском «Русском вестнике» в 1864-1865 годах, уже после смерти Вигеля. Содержащие большой, ярко изложенный материал по истории дворянского общества и русского барства первой половины XIX века, «Записки» Вигеля, крайнего реакционера, дают, однако, весьма субъективную оценку лиц и событий, характеризующихся с консервативных позиций.

¹⁸ Ассигнация десятирублевого достоинства.

¹⁹ То есть предложил вновь назначенному губернатору постоянную взятку – долю доходов с откупа в той губернии, куда отправлялся «помпадур».

«Нередко случалось мне слышать от посторонних людей историю о том, как мы с генералом Горячкиным ловили червей в Нерехотском уезде; но всегда история эта передавалась в извращенном виде. Дело было так. В 18.. году, в сентябре, будучи уже костромским помпадуром, получил я от капитан-исправника донесение, что в Нерехотском уезде появился необыкновенной величины червяк, который поедает озимь, сию надежду будущего урожая, и что, несмотря на принятые полицейские меры, сей червь, как бы посмеиваясь над оными, продолжает свое истребительное дело. Делать нечего, как ни жаль было расставаться с доброю спутницей жизни и теплым гнездом, однако отправился. Приезжаю на место, требую, чтобы мне показали образцы зловредного насекомого – и что же вижу? Огромной величины травоядное, с вида точь-в-точь похожее на солитера! Подивившись, тут же составили план кампании и легли спать. На другой день, едва лишь встало солнце, как вдруг мне докладывают, что на границе соседней губернии ожидает меня генерал Горячкин, для совокупных действий по сему же делу, так как вредный тот червь производил свои опустошения и в смежности.

Наскоро умываюсь, выхожу и вижу генерала, гарцующего на белом коне близ самой границы, но через оную не переступающего. Тогда, пригласив любезно доброго соседушку в свою убогую хижину и заказав себе прекраснейшую уху из волжских стерлядей, начали мы толковать о предстоящих мерах. Но как ночь была проведена почти без сна, по случаю непрерывных трудов и совещаний, то вскоре мы заснули. Каково же было наше удивление, когда, проснувшись, вдруг узнали, что червь, как бы по мановению волшебства, вдруг исчез!

Тогда, поевши ухи и настрого наказав обывателям, дабы они всячески озаботились, чтобы яйца червя остались без оплодотворения, мы расстались: я – в одну сторону, а ярославский соседушка мой – в другую. Таким образом происходило сие достопамятное дело, стоившее мне немалых трудов и беспокойств».

Или вот, наконец, третий и последний отрывок:

«Однажды один председатель, слывший в обществе остроумцем (я в то время служил уже симбирским помпадуром), сказал в одном публичном месте: «Ежели бы я был помпадуром, то всегда ходил бы в колпаке!» Узнав о сем через преданных людей и улучив удобную минуту, я, в свою очередь, при многолюдном собрании, сказал неосторожному остроумцу (весьма, впрочем, заботившемуся о соблюдении казенного интереса): «Ежели бы я был колпаком, то, наверное, вмещал бы в себе голову председателя!» Он тотчас же понял, в кого направлена стрела, и закусил язык. Но с тех пор уже не повторял своей дерзкой замашки, и дружба наша более не прерывалась».

Кроме того, мне известно, что, независимо от мемуаров, благодушный старик имеет и другие, еще более серьезные занятия, которым посвящает вечерние досуги свои. А именно, он пишет различные административные руководства, порою же разрабатывает и посторонние философические вопросы.

Из административных его руководств мне известны следующие: «Три лекции о строгости» (план сего сочинения задуман и даже отчасти в исполнение приведен был еще во время административной деятельности старца, и вступительная (первая) лекция была читана в полном собрании гг. исправников и городничих; но за сие-то именно и был уволен наш добрый начальник от должности!!!), «О необходимости административного единогласия, как противоядия таковому ж многогласию», «Краткое рассуждение об усмирениях, с примерами», «О скорой губернаторской езде на почтовых», «О вреде, производимом вице-губернаторами», «Об административном вездесущии и всеведении» и, наконец, «О благовидной администратора наружности».

Из сочинений философического содержания мне известны следующие: «О солнечных и лунных затмениях и о преимуществе первых над последними»;

«Что, ежели бы я жил на необитаемом острове и имел собеседником лишь правителя канцелярии?»^[20] и, наконец, третье: «О неприметном для глаз течении времени».

Мы с Павлом Трофимычем не раз приступали к доброму старику, чтобы позволил опубликовать хоть один из этих трактатов, в которых философическая мудрость до такой степени сплетена с мудростью житейскою, что невозможно ничего разобрать; но всегда встречали упорный отказ.

– Нет, друзья! – отвечал нам незабвенный, – вот когда я умру – тащите все к Каткову! Никому, кроме Каткова! Хочу лечь рядом с стариком Вигелем!

Тем не менее (несмотря на строгость и горечь этого отказа) я и до сих пор не могу без благодарного умиления вспомнить о тех сладостных вечерах, которые мы проводили, слушая мастерское и одушевленное чтение нашего доброго, хотя и отставного начальника. Сидим мы, бывало, вчетвером: он, Анна Ивановна, Павел Трофимыч и я, в любимой его угловой комнате; в камине приятно тлеют дрова; в стороне, на столе, шипит самовар, желтеет только что сбитое сливочное масло, и радуют взоры румяные булки, а он звучным, отчетливым голосом читает:

«Необходимо, чтобы администратор имел наружность благородную. Он должен быть не тучен и не скареден, роста быть не огромного и не излишне малого, должен сохранять пропорциональность в частях тела и лицо иметь чистое, не обезображенное ни бородавками, ни тем более злокачественными сыпями. Сверх сего, должен иметь мундир».

Или:

«Прежде всего замечу, что истинный администратор никогда не должен действовать иначе, как чрез посредство мероприятий. Всякое его действие не есть действие, а есть мероприятие. Приветливый вид, благосклонный взгляд суть такие же меры внутренней политики, как и экзекуция. Обыватель всегда в чем-нибудь виноват»...

– Не хотите ли простокваши с сахаром? – прервет, бывало, милая Анна Ивановна, причем больше всего имеет в виду дать доброму старику время передохнуть.

«Обыватель всегда в чем-нибудь виноват, и потому всегда надлежит на порочную его волю воздействовать», – продолжает старик, и вдруг, прекращая чтение и отирая наворачнувшиеся на глазах слезы (с некоторого времени, и именно с выхода в отставку, он приобрел так называемый «слезный дар»), прибавляет:

– Друзья! отложимте чтение до завтра! сегодня я... взволнован!

О, сладкие минуты! о, милые, гостеприимные тени! где вы?

* * *

Однако старик не утерпел. В один праздничный день стояли мы все в соборе, как вдруг он появился среди нас. Вошел он без помпы, однако ж и без ложной скромности, и направил шаги свои к левому клиросу, так как у правого стоял «новый». Легкий трепет прошел по толпе. Мы молча любовались изящною картиной противопоставления сих двух административных светил, из коих одно представляло полный жизни восход, а другое – прекрасный, тихо потухающий закат; но многие заметили, что «новый», при появлении благодушного старца, вздрогнул. Вероятно, воображению его, по этому поводу, представились те затруднения, которые могли возникнуть во время прикладыванья к кресту; вероятно, он опасался, что заматерелый старый администратор по прежней привычке подойдет первым, и, при этой мысли, правая нога его уже сделала машинально шаг вперед, чтобы отнюдь не допустить столь явного умаления власти. Но тонкий старик, появившись столь неожиданно среди нас, очевидно, имел иные цели, и потому, дабы достигнуть желаемого беспрепятственно и вместе с тем не поставить в

²⁰ На тему этого «помпадурского сочинения» Салтыков-Щедрин написал вскоре свою первую «сказку»: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».

затруднение преосвященного, великодушно разрешил все сомнения, добровольно удалившись из церкви за минуту до окончания богослужения.

Оказалось, что целью приезда старика было благо и счастье той самой страны, на пользу которой он в свое время так много поревновал. Надо сказать правду, в последнее время в нем произошел значительный нравственный переворот; в особенности же спасительно в этом отношении повлияли действия «нового» по взысканию недоимок (а отчасти и по выбору помпадурши). Легко может быть даже, что, в виду этих мероприятий, наш незабвенный решился, не предупредив никого, сделать последний шаг, чтобы окончательно укрепить и наставить того, который в нашем интимном обществе продолжал еще слыть под именем «безрассудного молодого человека». И действительно, немедленно после обедни, целый город был свидетелем, как «старый» направился с визитом к «новому».

Что происходило во время этого свидания, длившегося с лишком два часа, – осталось для всех тайной. Несомненно, однако ж, что тут обсуждались интересы и мероприятия, немногим легковеснее тех, о коих была речь во время свидания при Тильзите^[21]. Очевидцы, стоявшие в это время в приемной комнате, утверждают одно: совещание происходило тихо и на каком-то никому не ведомом языке; причем восклицания перемежались вздохами, вздохи же перемежались восклицаниями. Сверх сего, нередко слышались слова «ваше превосходительство». Очевидно, что обеим сторонам было равно тяжело. Наконец администраторы разом вышли из кабинета, красные и до крайности взволнованные. Некоторое время они безмолвно стояли, взирая друг другу в глаза и пожимая руки; наконец «новый» стремительно обратился к своему правителю канцелярии и сказал:

– Сейчас же, мой любезный, пойдите и скажите, чтобы мостовую базарной площади немедленно прекратили! Прикажите также, чтобы полы и потолки в губернаторском доме настилали по-прежнему!

Затем, взаимно и любезно облобызавшись, оба светила расстались.

Вечером того же дня старик был счастлив необыкновенно. Он радовался, что ему опять удалось сделать доброе дело в пользу страны, которую он привык в душе считать родною, и, в ознаменование этой радости, ел необыкновенно много. С своей стороны, Анна Ивановна не могла не заметить этого чрезвычайного аппетита, и хотя не была скупа от природы, но сказала:

– Ах, Nicolas! ты сегодня так много кушаешь, что у тебя непременно заболит живот!

На что незабвенный ответил:

– Друг мой! не смущай моей радости! Сегодня я убедился, что наше дело находится в добрых и надежных руках!

В этот же вечер добрый старик прочитал нам несколько отрывков из вновь написанного им сочинения под названием «Увет молодому администратору», в коих меня особенно поразили следующие истинно вещие слова: «Юный! ежели ты думаешь, что наука сия легка, – разувься в том! Самонадеянный! ежели ты мечтаешь все совершить с помощью одной необдуманности – оставь сии мечты и склони свое неопытное ухо увету старости и опытности! Перо сие, быть может, в последний раз...»

Когда он читал сии строки, мы заливались слезами.

Кто мог думать, что этот веселый вечер будет последним проблеском нашего счастья!

* * *

Вдруг старик начал хиреть. Многие уверяют, что хворость эта началась с того дня, как он посетил «нового», так как прямым последствием этого посещения была неумеренность в

²¹ То есть знаменитого свидания Наполеона с Александром I на Немане, под Тильзитом, в 1807 году, когда решались судьбы Европы.

пище, вследствие которой сначала заболел живот, а затем... Но не стану упреждать событий и скажу только, что подобное толкование кажется мне поверхностным уже по тому одному, что невозможно допустить, чтобы опытные администраторы лишались жизни вследствие расстройства желудка. Я объясняю себе эту болезнь иначе, а именно тем нравственным переворотом, о котором говорено выше и который произошел в старике в последнее время.

Надо сказать правду, старик долго не одобрял действий «нового». Все эти распоряжения и мероприятия (таковы, например: замощение базарной площади, приказ о подвизывании колокольчиков при въезде в город и т.п.), которым, с такою нерасчетливою горячностью предавался на первых порах безрассудный молодой человек, казались ревнивому старику направленными лично против него. Он хмурился, нередко роптал, и хотя деликатность не позволяла ему стать во главе недовольных, тем не менее никто не мог сомневаться насчет его истинных чувств. В этом недовольстве уже заключалось известное положение, прямое и даже независимое, дававшее отставному администратору право критически относиться к действиям новой администрации, право негодовать, упрекать в неблагодарности и проч. В скором времени это грустное право обратилось даже в привычку и, незаметно для своего обладателя, поддерживало и питало его существование. Старик увидел себя центром, к которому устремились скептики и недовольные. Испытав на себе все последствия преждевременной отставки, он, как древле Кориолан, с горькою веселостью видел, как в любезном ему отечестве, на развалинах заведенного им порядка, водворяется анархия, то есть безначалие. И ежели бы у него под руками были вольски, то он, быть может, не усомнился бы даже прибегнуть к их помощи^[22], лишь бы предписать условия новому Риму, утопающему в разврате и гордости. Одним словом, это была своего рода пища, пища не вполне здоровая, но не лишенная известной доли приятности и возбуждательности. И вдруг... рухнуло разом все это здание недовольства, упреков, критиканств и негодований! вдруг оказалось, что новый Рим вовсе не утопает в разврате безначалия и что даже Рима совсем никакого нет...

Известия следуют за известиями с быстротою молнии, и все известия самые благонадежные, самые благонамеренные! Весть об избрании помпадурши была первою в этом смысле; с нее старик задумался, и слово «молодец» впервые сорвалось с его языка в применении к «новому». Затем известие о сборе недоимок потрясло еще более; тут он положительно убедился, что «новый» совсем не тот фанфарон, каким его произвольно создало его воображение, но что это администратор действительный, употребляющий, где нужно, меры кротости, но не пренебрегающий и мерами строгости. Наконец, великодушная уступка, сделанная по вопросу о мостовых, dokonчила начатое и поразила старика до того, что он тотчас же объелся, и вот в этом (но только в этом!) смысле может быть признано справедливым мнение, что неумеренность в пище послужила косвенною причиною тех бедственных происшествий, которые случились впоследствии.

На другой день после описанного выше свидания старец еще бродил по комнате, но уже не снимал халата. Он особенно охотно беседовал в тот вечер о сокращении переписки, доказывая, что все позднейшие «катастрофы» ведут свое начало из этого зловерного источника.

– Сокращение переписки, – говорил он, – отняло у администрации ее жизненные соки. Лишенная радужной одежды, которая, в течение многих веков, скрывала ее формы от глаз нескромной толпы, администрация прибегала к «катастрофам», как к последнему средству, чтобы опереться. Правда, новая одежда явилась, но она оказалась с прорехами.

– Но неужели же, вашество, нет средств починить ее? – зывали мы с Павлом Трофимычем.

²² Римский патриций и полководец Кориолан, враг демократии, был изгнан из отечества по требованию народных трибунов, перешел к враждебному римлянам народу вольскам и поднял их на борьбу с Римом, но отступил от стен его, поддавшись мольбам своей матери. На этот сюжет Салтыков-Щедрин, в годы своей лицейской юности, написал не дошедшую до нас «трагедию в стихах», о которой вспоминал позднее «с большим сарказмом».

– Есть-с; средство это – вырвать корень со всеми его последствиями; но, – прибавил он, вздохнувши:

– для такого подвига нонче слуг нет!

– Раненько, вашество, тяготы-то эти с себя снять изволили! – заикнулся было Павел Трофимыч.

– Что ж! Я послужить готов! – отвечал он и даже приободрился, но тут же почувствовал новый припадок в желудке и вышел.

В этот вечер он даже не писал мемуаров. Видя его в таком положении, мы упросили его прочитать еще несколько отрывков из сочинения «О благовидной администратора наружности»; но едва он успел прочесть: «Я знал одного тучного администратора, который притом отлично знал законы, но успеха не имел, потому что от тука, во множестве скопленного в его внутренностях, задыхался...», как почувствовал новый припадок в желудке и уже в тот вечер не возвращался.

На следующий день он казался несколько бодрее, как вдруг приехал Павел Трофимыч и сообщил, что вчерашнего числа «новый» высек на пожаре купца (с горестью я должен сказать здесь, что эта новость была ложная, выдуманная с целью потешить больного). При этом известии благодушный старец вытянулся во весь рост.

– Моло... – проговорил он и вдруг ослабел и упал на диван.

На третий день он лежал в постели и бредил. Организм его, потрясенный предшествовавшими событиями, очевидно не мог вынести последнего удара. Но и в бреду он продолжал быть гражданином; он поднимал руки, он к кому-то обращался и молил спасти «нашу общую, бедную...». В редкие минуты, когда воспалительное состояние утихало, он рассуждал об анархии.

– Пуще всего, друзья, – обращался он к нам, – опасайтесь анархии, то есть безначалия. Как, с одной стороны, чинобоязненность и начальстволюбие есть то естественное основание, из которого со временем прозябнет для вкушающего сладкий плод, так, с другой стороны, безначалие, как и самое сие слово о том свидетельствует, есть не что иное, как зловонный тук, из которого имеют произрасти одни зловредные волчцы. Посему, ежели кто вам скажет: идем и построим башню, касающуюся облак, то вы того человека бойтесь и даже представьте в полицию^[23]; ежели же кто скажет: идем, преклоним колена, то вы, того человека облобызав, за ним последуйте. Не боящиеся чинов оными награждены не будут; боящемуся же все дастся, и даже с мечами, хотя бы он и не бывал в сраженьях против неприятеля^[24].

В одну из таких светлых минут доложили, что приехал «новый». Старик вдруг вспрянул и потребовал чистого белья. «Новый» вошел, потрясая плечами и гремя саблею. Он дружески подал больному руку, объявил, что сейчас лишь вернулся с усмирения, и заявил надежду, что здоровье почтеннейшего старца не только поправится, но, с божиею помощью, получит дальнейшее развитие.

Старик был, видимо, тронут и пожелал остаться с «новым» наедине.

Что происходило на этой второй и последней конференции двух административных светил – осталось тайною. Как ни прикладывали мы с Павлом Трофимычем глаза и уши к замочной скважине, но могли разобрать только одно: что старик увещевал «нового» быть твердым и не взирать. Сверх того, нам показалось, что «молодой человек» стал на колена у изголовья старца и старец его благословил. На этом моменте нас поймала Анна Ивановна и крепко-таки пожурела за нашу нескромность.

²³ Библейский миф о попытке построить в Вавилоне башню, которая должна была достигнуть неба (Бытие, II, 1-9), используется здесь как символ свободомыслия и духа борьбы, в противоположность начальстволюбию тех, кто призывает: «идем, преклоним колена».

²⁴ Знак двух накрест лежащих мечей присоединялся как дополнительная награда к орденам, получаемым за воинские подвиги.

Через полчаса «молодой человек» вышел из спальни с красными от слез глазами: он чувствовал, что лишался друга и советника. Что же касается старика, то мы нашли его в такой степени спокойным, что он мог без помех продолжать свои наставления об анархии.

Увы! на другой день страшная весть поразила весь город...

Так потух этот административный светоч, столь долго удивлявший мир своею распорядительностью! Так закатилось это светило, не успевшее совершить и половину предначертанного ему круга!

Склонился долу спелый гроздий! склонился под бременем собственных доблестных подвигов и деяний! Пал старый бесстрашный боец!.. пал... жертвою сокращения переписки!

Старая помпадурша

Ни для кого внезапная отставка старого помпадура не была так обильна горькими последствиями, ни в чем существовании не оставила она такой пустоты, как в существовании Надежды Петровны Бламанже. Исправники, городничие, советники, в ожидании нового помпадура, все-таки продолжали именоваться исправниками, городничими и советниками; она одна, в одно мгновение и навсегда, утратила и славу, и почести, и величие... Были минуты, когда ей казалось, что она даже утратила свой пол.

– Главное, *ma chere (моя дорогая)*, несите свой крест с достоинством! – говорила приятельница ее, Ольга Семеновна Проходимцева, которая когда-то через нее пристроила своего мужа куда-то советником, – не забывайте, что на вас обращены глаза целого края!

Надежда Петровна вздыхала и мысленно сравнивала себя с Изабеллой Испанской^[25]. Что ей теперь «глаза целого края»! что в них, когда они устремлялись на нее лишь для измерения глубины ее горести! Утративши своего помпадура, она утратила все... даже способность быть патриоткою!..

Последние минуты расставания были особенно тяжелы для нее. По обыкновению, прощание происходило на первой от города станции^[26], куда собрались самые преданные, чтобы проводить в дальнейший путь добрейшего из помпадуров. Закусили, выпили, поплакали; советник Проходимцев даже до того обмочился слезами, что старый помпадур только махнул рукою и сказал:

– Уведите! уведите его... он добрый!

Однако Надежда Петровна была сдержанна и даже довольно искусно притворилась веселою. Ее попросили спеть что-нибудь – она не отказалась; взяла гитару и пропела любимую помпадурову песню:

Шли три оне...^[27]

И только в ту минуту, когда пришлось выводить:

Ты, Матрена!

Ты, Матрена!

Не подвертывайся! –

голос ее как будто дрогнул...

Но когда доложили, что лошади поданы, когда старый помпадур начал укутываться и уже заносил руки, чтобы положить в уши канат. Надежда Петровна не выдержала. Она быстро сдернула с своих плеч пуховую косынку и, обвернув ею шею помпадура, вскрикнула... От этого крика проснулось эхо соседних лесов.

– *Nadine a ete sublime d'abnegation! (Надин была – верх самоотречения!)* – говорила потом одна из присутствовавших на проводах дам. – Представьте себе, она всю дорогу ехала с открытой шеей и даже не хотела запахнуть салоп.

²⁵ Королева Изабелла II Испанская в 1868 году была вынуждена отречься от престола.

²⁶ Одна из деталей старого русского быта: отъезжающих в далекий путь или на долгое время было принято провожать до первой ямской «станции». Так прощались губернское общество и старые сослуживцы с покидавшими место служения начальниками.

²⁷ Народная песня.

– Et se cri! – прибавила другая дама, – se cri! (*А этот крик! этот крик!*) Это было какое-то вдохновение! это было просто что-то такое...

Как бы то ни было, но старый помпадур уехал, до такой степени уехал, что самый след его экипажа в ту же ночь занесло снегом. Надежда Петровна с ужасом помышляла о том, что ее с завтрашнего же дня начнут называть «старой помпадуршей».

Ничто так болезненно не действует на впечатлительные души, как перемены и утраты. Бывает, что даже просто стул вынесут из комнаты, и то ищешь глазами и чувствуешь, что чего-то недостает; представьте же себе, какое нравственное потрясение должно было произойти во всем организме Надежды Петровны, когда она убедилась, что у нее вынесли из квартиры целого помпадура! Долгое время она не могла освоиться с этой мыслью; долгое время ее как будто подманивало и подмывало. Руки ее машинально поднимались, чтоб ущипнуть или потрепать кого-то по щеке; голова и весь корпус томно склонялись, чтоб отдохнуть на чьей-то груди. В ушах явственно раздавался чей-то голос; талия вздрагивала от мнимого прикосновения чьей-то руки; грудь волновалась и трепетала; губы полуоткрывались, дыхание становилось прерывистым и жгло. Одним словом, в ней как будто сам собой еще совершался тот процесс вчерашней жизни, когда счастье полным ключом било в ее жилах, когда не было ни одного дыхания, которое не интересовалось бы ею, не удивлялось бы ей, когда вокруг нее толпились необозримые стада робких поклонников, когда она, чтоб сдерживать их почтительные представления и заявления, была вынуждаема с томным самоотвержением говорить: «Нет, вы об этом не думайте! это все не мое! это все и навек принадлежит моему милому помпадуру!...»

– Душенька! не мучь ты себя! утри свои глазки! – успокаивал Надежду Петровну муж ее, надворный советник Бламанже, стоя перед ней на коленях, – поверь, такие испытания никогда без цели не посылаются! Со временем...

– Что «со временем»? уж не вы ли думаете заменить мне его? – с негодованием прерывала его Надежда Петровна.

– Друг мой! голубчик! полно! куда мне! Я говорю: со временем...

– Отстаньте! вы мерзки!

Бламанже удалялся в другую комнату и оттуда робко вслушивался, как вздыхала Надежда Петровна.

Бламанже был малый кроткий и нес звание «помпадуршина мужа» без нахальства и без особенной развязности, а так только, как будто был им чрезвычайно обрадован. Он успел снискать себе всеобщее уважение в городе тем, что не задирает носа и не гордился. Другой на его месте непременно стал бы и обрывать, и козырять, и финты-фанты выкидывать; он же не только ничего не выкидывал, но постоянно вел себя так, как бы его поздравляли с праздником.

– Как здоровье Надежды Петровны? – спрашивали его знакомые, встретившись на улице.

– Благодарю вас! – отвечал он любезно, – в ту минуту, как я оставил ее, у нее сидел...

И потом, вдруг скорчив таинственную мину, он прибавлял своему собеседнику на ухо:

– Опять повздорили! – или:

– опять помирились! – смотря по тому, было ли известно собеседнику, что перед этим между помпадурами произошла любовная размолвка или любовное соглашение.

Обыватели не только ценили такую ровность характера, но даже усматривали в ней признаки доблести; да и нельзя было не ценить, потому что у всех был еще в свежей памяти муж предшествовавшей помпадурши, корнет Отлетаев, который не только разбивал по ночам винные погреба, но однажды голый и с штандартом в руках проскакал верхом через весь город.

Поэтому, когда уехал старый помпадур, Бламанже огорчился этим едва ли не более, нежели сама Надежда Петровна. Он чувствовал, что и в его существовании образовался какой-то пропуск; что ему хочется кому-то поклониться – и поклониться некому; хочется вовремя уйти из квартиры – и уйти не для чего; хочется сказать: «Как прикажете?» – и сказать нет повода. Просто не стало резона производить те действия, говорить те речи, которые произ-

водились и говорились в течение нескольких лет сряду и совокупность которых сама собой составила такую естественную и со всех сторон защищенную обстановку, что и жилось в ней как-то уютнее, и спалось словно мягче и безмятежнее.

С своей стороны, и Надежда Петровна, за все время своего помпадурствования, вела себя до такой степени умно и осторожно, что не только не повредила себе во мнении общества, но даже значительно выиграла.

Правда, она гордилась своим положением, но гордилась только в том смысле, что она по совести выполняет ту роль благодетельной феи, которая выпала на ее долю по воле судьбы. Ни один исправник не уходил от нее без утешения, ни один частный пристав не миновал того, чтоб не прийти в восторг от ее ласкового обращения.

– Вот уж именно можно сказать: мухе зла не сделала! – восклицали хором эти ревностные исполнители начальственных предначертаний.

Всякому она как будто говорила: посмотри, какая я мягкая, славная, сочная, добрая! и как должен быть счастлив со мной твой начальник! Всякому она сумела сделать что-нибудь приятное. У одного крестила дочь или сына, у другого была посаженной матерью; у бесплодных ела пироги. Не сердилась даже, когда у нее целовали ручки и заводили при этом расслабляющий чувства разговор. Она сама не прочь была поврать, но всякий раз, когда вранье начинало принимать двусмысленный оборот, она, без всякой, впрочем, строптивости, прерывала разговор словами: «Нет! об этом вы, пожалуйста, уж забудьте! это не мое! это все принадлежит моему милому помпадуру!» Одним словом, стояла на страже помпадура добра.

Очень понятно, что обыватели и это сумели оценить по достоинству.

Вспоминали прежних помпадурш, какие они были халды и притязательные, как наущничали, сплетничали и даже истязали; как они увольняли и определяли, как отягощали налогами и экзекуциями... Передавали друг другу рассказы о корнетше Отлетаевой, которая однажды в своего помпадура апельсином на званом обеде пустила и даже не извинилась потом, и, сравнивая этот порывистый образ действия с благосклонно-мягкими, почти неслышными движениями Надежды Петровны, все в один голос вопияли:

– Мухи не обидела! Самому последнему становому – и тому не сделала зла!

Одним словом, по мере того как она утешала своего помпадура, общественное уважение к ней возрастало все больше и больше. Поэтому выход ее из помпадурш был не только сносный, но даже блестящий. Обыкновенно бывает так, что старую помпадуршу немедленно же начинают рвать на куски, то есть начинают не узнавать ее, делать в ее присутствии некоторые несовместные телодвижения, называть «душенькой», подсылать к ней извозчиков; тут же, напротив, все обошлось как нельзя приличнее. Целый город понял великость понесенной ею потери, и когда некоторый остроумец, увидев на другой день Надежду Петровну, одетую с ног до головы в черное, стоящую в церкви на коленях и сдержанно, но пламенно молящуюся, вздумал было сделать рукою какой-то вольный жест, то все общество протестовало против этого поступка тем, что тотчас же после обедни отправилось к ней с визитом.

– *Jamais, au grand jamais! meme dans ses plus beaux jours, elle n'a ete fete'e de la sorte! (Никогда, положительно никогда, даже в самые ее счастливые времена, ее не приветствовали таким образом!)* – говорила статская советница Глумова^[28], вспоминая об этом торжестве невинности.

– Просто даже как будто она не Бламанже, а какая-нибудь принцесса! – прибавлял от себя действительный статский советник Балбесов.

Даже кучера долгое время вспоминали, как господа ездили «Бламанжейшино горе утолять» – так велик был в этот день съезд экипажей перед ее домом.

²⁸ Персонаж из комедии А.Н.Островского «На всякого мудреца довольно простоты» (1868).

– Вы, пожалуйста, душечка, к нам по-прежнему! – убеждала Надежду Петровну предводительша Веденеева.

– Вы знаете, как мы были привязаны к тому, что для вас так дорого! – прибавляла советница Прохвостова.

– Вы знаете, как мы ценим, как мы понимаем! – перебивала статская советница Глумова.

– Mais venez done diner, chere... sans ceremonies! (*Приходите же обедать, дорогая... без церемоний!*) – благосклонно упрашивала действительная статская советница Балбесова.

– И чем чаще-с, тем лучше-с! – присовокуплял действительный статский советник Балбесов, поглядывая на помпадуршу масляными глазами, – горе ваше, Надежда Петровна, большое-с; но, смею думать, не без надежды на уврачевание-с.

Немало способствовало такому благополучному исходу еще и то, что старый помпадур был один из тех, которые зажигают неугасимые огни в благодарных сердцах обывателей тем, что принимают по табельным дням, не манкируют званных обедов и вечеров, своевременно определяют и увольняют исправников и с ангельским терпением подписывают подаваемые им бумаги. Припоминали, как предшествовавшие помпадуры швыряли и даже топтали ногами бумаги, как они слонялись по присутственным местам с пеной у рта, как хлопали исправников по животу, прибавляя:

– что! много тут погребено всяких курочек да поросяточек! как они оставляли городничих без определения, дондеже не восчувствуют^[29], как невежничали на званных обедах... и не могли не удивляться кротости и обходительности нового (увы! теперь уже отставного!) помпадура. А так как и он, поначалу, оказывал некоторые топтательные поползновения и однажды даже, рассердившись на губернское правление, приказал всем членам его умереть, то не без основания догадывались, что перемена, в нем совершившаяся, произошла единственно благодаря благодетельному влиянию Надежды Петровны.

– Нет, вы подумайте, сколько надо было самоотвержения, чтоб укротить такого зверя! – говорили одни.

– Ведь она, можно сказать, всякую его выходку на своем теле приняла! – утверждали другие.

– Да-с, это искусство не маленькое! Быть ввержену в одну клетку с зверем – и не проштрафиться! – прибавляли третьи.

И таким образом, и старый помпадур, и сама Надежда Петровна, и даже надворный советник Бламанже – все действовало заодно, все способствовало, чтобы привязать к ней сердца обывателей. Так что, когда старый помпадур уехал, то она очутилась совсем не в том ложном положении, какое обыкновенно становится уделом всех вообще уволенных от должности помпадурш, а просто явилась интересною жертвою жестокой административной необходимости. Одно только казалось ей странным: что в ее существовании вдруг как будто некто провел черту и сказал при этом: «Отныне быть тебе по-прежнему девицей!»^[30] Однако, как ни велика была всеобщая симпатия, Надежда Петровна не могла не припоминать. Прошедшее вставало перед нею, осязательное, живое и ясное; оно шло за ней по пятам, жгло ее щеки, теснило грудь, закипало в крови.

Она не могла взглянуть на себя в зеркало без того, чтобы везде... везде не увидеть следов помпадура!

– Противный ты, помпадурушка! нашалил и уехал! – говорила она, томно опускаясь на кушетку, а слезы так и сыпались крупными алмазами на пылающие щеки.

²⁹ Городничий – начальник исполнительной полиции в уездном городе (звание было упразднено в 1862 г.). Определение – санкция начальника губернии на проведение полицейских расследований и других акций – главного источника «безгрешных доходов» дореформенных городничих. Доля этих доходов поступала нередко и к губернаторам.

³⁰ Такая резолюция приписывалась Николаю I. На прошении какой-то женщины, покинутой мужем и просившей о разводе, в чем ей было отказано синодом, царь, не согласный с таким решением, будто бы начертал: «Считать ее по-прежнему девицей».

Надворный советник Бламанже обыкновенно ловил такие минуты на лету и неслышно, словно у него были бархатные ноги, подползал к кушетке.

– Друг мой! – начинал он, – бог милостив! Со временем...

– Отстаньте! вы мне мерзки! все противно! все мерзко! все отвратительно! – кричала она на него и нередко даже разбивала при этом какую-нибудь безделицу.

Прежде всего ей припоминались первые, медовые дни их знакомства. Что она пленила его – в том ничего не было удивительного. Это была она из тех роскошных женщин, мимо которых ни один человек, на заставах команду имеющий, не может пройти без содрогания. В особенности же раздражительно действовала ее походка, и когда она, неся поясницу на отлете, не шла, а словно устремлялась по улице, то помпадур, сам того не замечая, начинал подпрыгивать. Многие пробовали устоять против одуряющего действия этой походки, но не устоял никто. Однажды управляющий акцизными сборами даже пари подержал, что устоит, но как только поравнялся с очаровательницей, то вдруг до такой степени взвизгнул, что живший неподалеку мещанин Полотебнов сказал жене: «А что, Мариша, никак в лесу заяц песню запел!» В этом положении застал его старый помпадур.

– Вы, государь мой, в таких летах, что можете, кажется, сами понимать, что визжать на улице неприлично! – сказал он ему строго.

Но управляющий даже не извинился, а продолжал лопотать языком что-то невнятное и указывал рукой на удаляющуюся Надежду Петровну.

С тех пор все пошло у них как по маслу.

Помпадур начал с того, что обласкал надворного советника Бламанже.

Потом стал беспрерывно прохаживаться под окнами дома, в котором жила Надежда Петровна, и напевать: «*Jeune fille aux yeux noirs*» («*Черноокая девушка*»)[³¹]. Напевал он этот романс то грустным фальцетом, то подражая звуку трубы, причем фальшивил неупустительно. Весь город заметил нелепое помпадурово шатанье и с тревожным волнением ожидал, чем оно кончится.

Надежда Петровна тоже что-то предчувствовала и, завидев из окна влюбленного помпадура, смеялась тем тихим, счастливым смехом, каким смеются маленькие дети, когда у них слегка пощекотят животик. Наконец в этом деле приняла участие Ольга Семеновна Проходимцева...

Губерния на этот счет очень услужлива. Когда заметит, что помпадур в охоте, то сейчас же со всех сторон так и посыплются на него всякие благодатные случайности: и нечаянные прогулки в загородном саду, и нечаянные встречи в доме какой-нибудь гостеприимной хозяйки, и нечаянные столкновения за кулисами во время благородного спектакля. Одним словом, нет такого живого дыхания, которое не послало бы своего отвратительного пожелания, которое не посодействовало бы каким-нибудь омерзительным движением успеху сего омерзительного предприятия.

Так было и тут. Помпадур встречался с Надеждой Петровной у Проходимцевой, и встречался всегда случайно. Сначала он все пел: «*Jeune fille aux yeux noirs*» – и объяснял, что музыка этого романса была любимым церемониальным маршем в его полку. Иногда, впрочем, для перемены, принимался рассматривать лежавшие на столе картинки и бормотал себе подурачки под нос:

– Неприступная!

– Про кого вы там еще шепчете? – спрашивала его Надежда Петровна.

– Небожительница!

О, ежели бы у него был хвост, она, наверное, увидела бы, как он вилял им в это время!

³¹ Популярная песенка французского композитора Т.Лабарра на слова А.Бетурне (1834). Не раз упоминается в произведениях Салтыкова-Щедрина.

Долго, однако ж, она не поддавалась обаянию его любезности; по временам случалось даже так, что он затынет:

Des chevaliers ainsi m'ont exprime leur flamme...
(Так рыцари выражали мне свою страсть...)

А она в ответ:

Et moi, j'ai refuse l'offre des chevaliers...
(А я, я отказалась от предложений рыцарей...)

И с такой усмешкой посмотрит на него, что он вдруг, словно обожженный, переменит материю и затынет: «T'en souviens-tu?» (*Вспоминаешь ли ты?*) – Что это вы вдруг какую похо- ронную? – спросит Ольга Семеновна.

– Что ж делать-с? Вот Надежде Петровне не имеем счастья нравиться! – ответит он и как-то так уморительно надует губы, что Надежде Петровне так вот и хочется попробовать, какой они издадут звук, если нечаянно хлопнуть по ним пальчиком.

Но так как никто своей судьбы не избежит, то и для них настала решительная минута.

Однажды – это было осенним вечером – помпадур, по обыкновению, пришел к Проходимцевой и, по обыкновению же, застал там Надежду Петровну. В этот раз нервы у ней были как-то особенно впечатлительны.

Jeune fille aux yeux noirs! tu regnes sur mon ame!
(Черноокая девушка! ты царишь в моей душе!)

– затынул помпадур. Надежда Петровна вполголоса ему вторила:

Et moi, j'ai refuse...

– Ах, нет! ах, нет! не пойте этого! не смейте петь! – как-то нервически вскрикнула Надежда Петровна, как будто хотела заплакать.

– Вы... ты...

Сердца их зажглись.

Вспоминала об этом Надежда Петровна в теперешнем своем уединении, вспоминала, как после этого она приехала домой, без всякой причины бегала и кружилась по комнатам, как Бламанже ползал по полу и целовал ее руки; вспоминала... и сердце ее вотще зажигалось, и по щекам текли горькие-горькие слезы...

– Какой он, однако ж, тогда глупенький был! – говорила она, – и как он смешно глазами вертел! как он старался рулады выделять! как будто я и без того не понимала, к чему эти рулады клонятся!

От одного воспоминания мысль ее невольно переходила к другому.

Однажды у Проходимцевой состоялись живые картины. Были только свои.

Он представлял Иакова, она – Рахиль³². Она держала в руках наклоненную амфору, складки ее туники спускались на груди и как-то случайно расстроились... Он протягивал губы («и как он уморительно их протягивал... глупушка мой!» – думалось ей)...

³² Библейский рассказ о том, как Рахиль утоляла жажду Иакова, был одним из излюбленных сюжетов «академической живописи», откуда перешел в постановки так называемых «живых картин».

– Эх, Надежда Петровна! кабы вы меня таким манером попоили! – сказал ей тогда действительный статский советник Балбесов; но она сделала вид, что не слышит, и даже не пожаловалась ему.

Почему она не пожаловалась? А потому, что он однажды сказал ей:

– Ты, Наденька, если будут к тебе приставать, только скажи! я сейчас его на тележку – и фюить!

Она же не только не добивалась ничего подобного, но желала одного: чтобы все на нее смотрели и радовались.

Потом, однажды – было уж очень-очень поздно – он расшалился и вдруг сказал ей:

– Наденька! какое, однако ж, у тебя тело, так и тает!

Потом... они были однажды в губернии... он – по делам, она – случайно... Их пригласил предводитель обедать... Беседка... сад... поет соловей... вдали ходит чиновник особых поручений и курит сигару...

Все это так и металось в глаза, так и вставало перед ней, как живое! И, что всего важнее: по мере того как она утешала своего друга, уважение к ней все более и более возрастало! Никто даже не завидовал! все знали, что это так есть, так и быть должно... А теперь? что она такое теперь?

Старая помпадурша! разве это положение? разве это пост?

– Ах, где-то он теперь, глупушка мой?!

Надежда Петровна томилась и изнывала. Она видела, что общество благосклонно к ней по-прежнему, что и полиция нимало не утратила своей предупредительности, но это ее не радовало и даже как будто огорчало.

Всякий новый зов на обед или вечер напоминал ей о прошедшем, о том недавнем прошедшем, когда приглашения приходили естественно, а не из сожаления или какой-то искусственно вызванной благосклонности. Правда, у нее был друг – Ольга Семеновна Проходимцева...

С этим другом она запиралась один на один и вспоминала. Она даже сама удивлялась, какой неисчерпаемый источник подробностей открывался перед нею всякий раз, как она принималась припоминать.

– Вот какой этот помпадурушка глупенький! сколько он нашалил! – говорила она Ольге Семеновне и вновь отыскивала какую-нибудь еще не рассказанную подробность и повествовала об ней своему другу.

От остальных знакомых она почти отказалась, а действительному статскому советнику Балбесову даже напрямки сказала, чтобы он и не думал, и что хотя помпадур уехал, но она по-прежнему принадлежит одному ему или, лучше сказать, благодарному воспоминанию об нем. Это до такой степени ожесточило Балбесова, что он прозвал Надежду Петровну «ходячею панихидой по помпадуре»; но и за всем тем успеха не имел.

– Ведь вот, сударь, какое этому помпадуру счастье! – говорил он, – ведь, кажется, только и хорошего в нем было, что на обезьяну похож, а такую привязанность к себе внушил!

Большую часть времени она сидела перед портретом старого помпадура и все вспоминала, все вспоминала. Случалось иногда, что люди особенно преданные успевали-таки проникать в ее уединение и уговаривали ее принять участие в каком-нибудь губернском увеселении. Но она на все эти уговоры отвечала презрительною улыбкой. Наконец это сочтено было даже опасным.

Попробовали призвать на совет надворного советника Бламанже и заставили его еще раз стать перед ней на колени.

– Голубчик! не от себя, а от имени целого общества... – умолял злосчастный Бламанже, ползая на полу.

– Вы с ума сошли! вы, кажется, забыли, кто меня любил! – отвечала она, величественно указывая на портрет старого помпадура.

А помпадур, словно живой, выглядывал из рамок и, казалось, одобрял ее решение.

И вот, однажды утром. Надежда Петровна едва успела встать с постельки, как увидела, что на улице происходит какое-то необыкновенное смятение. Как ни поглощена была ее мысль воспоминаниями прошлого, но сердце ее невольно вздрогнуло и заколотилось в груди.

– Поздравляю, душенька! новый помпадур приехал! – весело сказал вошедший в это время надворный советник Бламанже.

* * *

Между тем уважение к Надежде Петровне все росло и росло. Купцы открыто говорили, что, «если бы не она, наша матушка, он бы, как свят бог, и нас всех, да и прах-то наш по ветру развеял!». Дворяне и чиновники выводили ее чуть не по прямой линии от Олега Рязанского. Полициймейстер настолько встревожился этими слухами, что, несмотря на то что был обязан своим возвышением единственно Надежде Петровне, счел долгом доложить об них новому помпадуру.

– Скажите бабе, чтобы она унялась, а не то... фюить! [33] – отвечал новый помпадур и как-то самонадеянно лихо щелкнул при этом пальцами.

Новый помпадур был малый молодой и совсем отчаянный. Он не знал ни наук, ни искусств, и до такой степени мало уважал так называемых идеологов, что даже из Поль де Кока и прочих классиков прочитал только избраннейшие места [34]. Любимейшие его выражения были «фюить!» и «куда Макар телят не гонял!»

Тем не менее, когда он объехал губернскую интеллигенцию, то, несмотря на свою безнадежность, понял, что Надежда Петровна составляет своего рода силу, с которой не считаться было бы неблагоприятно.

– Поверьте, mon cher (*мой дорогой*), – открывался он одному из своих приближенных, – эта Бламанже... это своего рода московская пресса! Столь же податлива... и столь же тверда! Но что она, во всяком случае, волнует общественное мнение – это так верно, как дважды два! [35] Но что всего более волновало его, так это то, что он еще ничем не успел провиниться, как уже встретил противодействие.

– Помилуйте! я приехал сюда... и, кроме открытого сердца... клянусь богом, ничего! – говорил он, – и что ж на первых же порах!

Однако мало-помалу любопытство взяло верх, и однажды, когда полициймейстер явился утром, по обыкновению, то новый помпадур не выдержал.

– А что... эта старая... какова? – спросил он.

– Птичка-с!

– Гм... вы понимаете... я... Но!..

– Точно так-с.

– Ну да!

³³ Фюить! – знаменитое щедринское словечко, в его специфическом смысле административно-полицейской высылки в места столь и не столь отдаленные, появляется именно здесь, в «Старой помпадурше». Но написание «фюить» появилось лишь в издании 1879 года: в рукописи и первоначальных публикациях этого текста Салтыков-Щедрин писал и печатал: «фить!».

³⁴ В представлении Салтыкова-Щедрина, как и многих других современников, французский романист Поль де Кок имел репутацию, далеко не вполне заслуженную, писателя, откровенно эротического.

³⁵ Полемическая выходка против «Московских ведомостей» Каткова, с их всегда будто бы независимой и даже фрондерской позицией, податливой якобы по отношению «ко всем разумным новым требованиям времени» (из «передовой» газеты от 15 июня 1868 г.), на деле же постоянно твердой в поддержке реакционной правительственной политики по существу.

У полицеймейстера сперло в зобу дыхание от радости. Он прежде всего был человек доброжелательный и не мог не болеть сердцем при виде каких бы то ни было междоусобий и неустройств. Поэтому он немедленно от помпадура поскакал к Надежде Петровне и застал ее сидящую в унынии перед портретом старого помпадура. У ног ее ползал Бламанже.

– Где-то ты теперь, глупушка! Нашалил – и уехал! – рассуждала она сама с собою.

Однако, когда в передней послышалось звяканье полицеймейстерской сабли, она не могла не вздрогнуть. Так вздрагивает старый боевой конь, заслышав призывной звук трубы. Надо сказать, впрочем, что к Надежде Петровне всякий и во всякое время мог входить без доклада и требовать себе водки и закусь.

– Принеси ты мне, Семен, этой рыбки – знаешь? – командовал полицеймейстер в передней. – А вы, Надежда Петровна, все еще в слезах!

Матушка! голубушка! да что ж это такое? – продолжал он, входя в комнату, – ну, поплакали! ну и будет! глазки-то, глазки-то зачем же портить!

– Да-с, вот не могу убедить! – вступился Бламанже.

– До тех пор, покуда... – сказала Надежда Петровна, и голос ее оборвался.

– Ну да, есть резон! а вы бы, сударыня, и об нас, грешных, тоже подумали!

– Что ж я могу сделать! теперь моя роль...

Надежда Петровна поникла головой.

– А я вот что вам доложу, сударыня! – настойчиво продолжал полицеймейстер, – вместо того чтобы перед этим, прости господи, идолом изнывать, вам бы, сударыня, бразды-с... вот что, сударыня!

Но Надежда Петровна по-прежнему смотрела в упор на старого помпадура.

– Я, сударыня, еще сегодня имел счастье докладывать...

Полицеймейстер вздохнул.

– Что же? – вступился Бламанже.

– А что ж, говорят, коли оне хотят противодействовать, так и пускай!..

Нехорошо это, Надежда Петровна! Бог с вас за это спросит! так-то-с!

Но она все молчала и, казалось, в глазах смотрящего на нее помпадура почерпала все большую и большую душевную твердость.

«Нашалил – и уехал!» – думалось ей.

– Вот то-то оно и есть-с! – продолжал полицеймейстер, как бы предвосхищая ее мысль, – они-то уехали, а мы вот тут отдувайся-с!

– Я постоянно ей это твержу! – оправдывался Бламанже, – и не я один – все общество!

Но Надежда Петровна уже не слушала более. Она вскочила с места и, как раненая тигрица, устремила на полицеймейстера.

– Так вы забыли, кто меня любил? – вскрикнула она на него, – а я... я помню! я все помню!

И с этим словом она величественно удалилась из комнаты.

Попытки, однако, этим не ограничились. Чаше и чаще начали навещать Надежду Петровну городские дамы, и всякая непременно заводила речь об новом помпадуре. Некоторые говорили даже, что он начинает приударять.

– Как жаль, что около него нет... *vous savez?* (*знаете?*) – прибавляла при этом какая-нибудь сердобольная дамочка.

– Нет, не знаю! – отвечала Надежда Петровна с изумительным равнодушием.

– Ну, этого... как это лучше выразить... руководящего...

– А!

Наступила эпоха обедов и балов. Надежда Петровна все крепилась и не спускала глаз с портрета старого помпадура. В городе стали рассказывать друг другу по секрету, что она надела на себя вериги.

– Mais, enfin, cela commence a devenir ridicule, ma chere! (*Но это, наконец, становится смешным, моя милая!*) – говорили ей подруги, приглашая принять участие в общественных торжествах.

– Вы не знаете, mesdames, кто меня любил! – был ее обыкновенный ответ на эти приставанья, – а я... я знаю! О! я очень-очень много знаю!

– Все это так... c'est sublime, il n'y a rien a dire! (*это возвышенно, нечего и говорить!*) но все же... всему есть наконец мера!

– Вот так-то я с ней каждый божий день быюсь! – вступался при этом надворный советник Бламанже, который, в последнее время, истаял, как свечка.

В сущности, однако ж, сердце ее мало-помалу подавалось. Она начинала уже анализировать физиономию старого помпадура и находила, что у него нос...

– Ах, ma chere (*моя дорогая*), посмотрите, какой у него уморительный нос! – говорила она Ольге Семеновне.

– Я удивляюсь, как вы прежде этого не заметили, – отвечала госпожа Проходимцева, которая и с своей стороны употребляла все усилия, чтобы заставить Надежду Петровну позабыть о прошедшем. – Да и губы-то не больно мудрящие!

И вот, однажды, она рискнула даже взглянуть в окошко... О, ужас! она увидела нового помпадура, который шел по улице, мурлыкая себе под нос:

L'amour – qu'est que c'est que ca, mamselle?

L'amour – qu'est que c'est que ca?

(*Любовь, что это такое, мадемуазель?*)

Он был так хорош, что она невольно загляделась. Брюнет, небольшого роста, но чрезвычайно пропорционально сложенный, он, казалось, был создан для того, чтобы повелевать и очаровывать. На левой щеке его была брошена небольшая бородавка (она все заметила!), а над губой прихотливо вился темный ус, который он по временам прикусывал. Красота его была совсем другого рода, нежели красота старого помпадура. У того и нос и губы были такие мягкие, такие уморительные, что так и позывало как-нибудь их скомкать, смять, а потом, пожалуй, и поцеловать. Но не за красоту поцеловать, а именно за уморительность. У этого, напротив, все было крепко, все говорило о неуклонности, неупустительности и натиске.

Но вот он приближается больше и больше: вот он уже поравнялся с домом Надежды Петровны; походка его колеблется, колеблется... вот он остановился... он взялся за ручку звонка... Надежда Петровна, вся смущенная и трепещущая, устремила под защиту портрета старого помпадура.

Бламанже еще раз доказал свою понятливость, стремглав бросившись вон из дома.

– Вы меня извините, милая Надежда Петровна, – говорил «он» через минуту своим вкрадчивым голосом, – я до такой степени уважал вашу горесть, что не смел даже подумать потревожить вас раньше своим посещением. Но прошу вас верить, что мое нетерпение... те лестные отзывы... если б я мог слушаться только голоса моего сердца...

Но у Надежды Петровны стучало в ушах. Она уставилась глазами в портрет, и ей показалось, что старый помпадур сверкал на нее оттуда глазами.

– Поверьте, – продолжал звучать тот же медоточивый голос, – что я тем не менее отнюдь не оставался безучастным зрителем вашего горя. Господин полициймейстер, конечно, не откажется удостоверить вас, что я неоднократно приказывал и даже настаивал, чтобы вам предоставлены были все способы... словом, все, что находится в моей власти...

Надежда Петровна сидела по-прежнему, не шевелясь, словно с ней происходил какой-то кошмар.

– Однако мне очень обидно, – гудел помпадур, – скажу больше... мне даже больно, что вы... как будто из-за меня... лишаете общество, так сказать, лучшего его украшения! Конечно, я... мои достоинства... Я не могу похвалиться опытностью...

– Нет! вас хвалят! – промолвила Надежда Петровна, почти не сознавая сама, что говорит.

– Общество слишком ко мне снисходительно! Конечно, все, что от меня зависит... я готов жертвовать жизнью... но, во всяком случае, милая Надежда Петровна, вы мне позвольте уйти с приятною мыслью... или, лучше сказать, с надеждою... что вы не захотите меня огорчить, лишая общество, так сказать, его лучшего украшения!

– Я-с... если прикажете-с! – отвечала она с прежнею бессознательностью.

– Не приказываю-с, но прошу!

Он взял ее руку и поцеловал.

– Это, кажется, портрет моего предместника? – спросил он.

– Да-с; это он-с.

– Как счастлив он был в своих привязанностях! и как много, как много утратил с отъездом отсюда!

Глаза помпадура становились масляными; речи принимали тенденциозный оттенок; но Надежда Петровна все еще не выходила из своего оцепенения.

– Да-с, он был счастлив-с, – промолвила она, сама удивляясь, отчего язык ее говорит только одни глупости.

– Извините, я больше не смею утруждать вас своим присутствием, но позволяю себе думать, что уношу с собою приятную надежду, что отныне все недоразумения между нами кончены, и вы... вы не лишите общество его... так сказать, лучшего украшения! – сказал он наконец, поднимаясь с дивана и вновь целуя ручку хозяйки.

По уходе его Надежда Петровна некоторое время стояла в ошеломлении. Ей казалось, что она выслушала какую-то неуклюжую канцелярскую бумагу, которой смысл был для нее еще не совсем ясен, но на которую необходимо во что бы ни стало дать объяснение. Наконец, когда она очнулась, то первым ее движением было схватить портрет старого помпадура.

– Помпадурушка! глупушка мой! Куда ж ты уехал! что ты со мной сделал! – вскрикнула она, как бы предчувствуя, что в судьбе старого помпадура должен произойти решительный поворот.

* * *

Дни шли за днями. В голове Надежды Петровны все так перепуталось, что она не могла уже отличить «jeune fille aux yeux noirs» от «l'amour qu'est que c'est que ça». Она знала наверное, что то и другое пел какой-то помпадур, но какой именно – доподлинно определить не могла. С своей стороны, помпадур горячился, тосковал и впадал в административные ошибки.

Мало-помалу затворническая жизнь прискучила, и Надежда Петровна начала выезжать. Тем не менее портрет старого помпадура все еще стоял на прежнем месте, и когда она уезжала на бал, то всякий раз останавливалась перед ним на несколько минут, во всем сиянии бального туалета и красоты, чтобы, как она выражалась, «не уехать, не показавшись своему глупушке». Балы следовали за балами, обеды за обедами, и на каждом из них она неизбежно встречала нового помпадура, который так и пожирал ее глазами. Наконец она стала замечать, что между ним и его предместником существует какое-то странное сходство. Долго она не могла определить, в чем состоит это сходство, пока наконец не догадалась, что они оба «глупушки». С тех пор «показывание» себя перед портретом старого помпадура сделалось уже пустою формальностью.

Где бы она ни была, куда бы ни приехала, с кем бы ни заговорила, везде и от всех слышала только одно: хвалу новому помпадуру. Полицеймейстер хвалил в нем благородство души, правитель канцелярии – мудрость, исправник – стремительность и натиск.

– Вы, Надежда Петровна, что думаете? – говорил исправник, – вы, может быть, думаете, что он там на балах или на обедах... что он пустяками какими-нибудь занимается... на плечи наших барынь облизывается?... Нет-с! он мероприятие обдумывает! Он уж у нас такой! он шагу не может ступить, чтобы чего-нибудь не решить!

– Так-то так, – задумчиво отвечала Надежда Петровна, – да боюсь я...

– Чего же вы боитесь? вы, может быть, думаете, что он на руку тяжел?

Напрасно-с! он у нас вот как: мухе зла не сделает! вот он у нас каков!

Заволновалась и добрая старушка Проходимцева, про которую в городе говорили, что она минуты не может прожить, чтобы не услужить.

Но помпадур был робок, что, впрочем, отчасти объяснялось уже тем, что в самом формуляре его было отмечено, что он не был в походах. Он легко обдумывал мероприятия, но чуть только выходил на арену практической деятельности, оказывался слабым и вялым. Все его действия относительно Надежды Петровны были нерешительны и даже просто глупы. Так, например, однажды, на каком-то званом обеде, он, в ее глазах, похитил со стола грушу, положил в карман и после обеда, подавая ее Надежде Петровне, каким-то отчаянным голосом сказал:

– Кушайте!

– На что мне? – изумилась Надежда Петровна.

– Так... это так! – почти закричал он, как будто воровство груши терзало его сердце. И вслед за тем как-то так глупо заржал, что старая помпадурша не могла не подумать:

«Господи! да какой же он, однако, глупушка!»

В другой раз, на балу, он долгое время стоял молча подле нее и вдруг проглаголал:

– Как бы я желал, чтобы в вашем доме случился пожар!

– На что ж это вам? – изумилась Надежда Петровна.

– Так! Я бы... я бы собственноручно вас вынес из пламени!

В третий раз он ее спросил:

– Вы когда-нибудь целуете вашего Бламанже?

– Зачем вам?

– Хочу знать!

– Не слишком ли вы любопытны?

– Хочу знать!

– Н-не... иногда...

– Отлично! а знаете ли вы, что ваш Бламанже на скорохода похож?

В четвертый раз он накинудся на Бламанже и начал его целовать.

– Что вы делаете? – испугалась Надежда Петровна.

– Целую.

– Да перестаньте же! разве не видите, что он весь посинел?

– Целую! – повторял он, обнаруживая какое-то неестественное ожесточение.

Вообще действия его были не только нерешительны, но и загадочны. Иногда он возьмет Надежду Петровну за руку, держит ее, гладит и вдруг как-то так нелепо рванет, что она даже вскрикнет; иногда вскочит со стула словно ужаленный, схватит фуражку и, не говоря ни слова, удерет в губернское правление. Одним словом, были все признаки; недоставало одного: словесности.

Надежде Петровне показалось, что его стесняет портрет старого помпадура! Его сняли со стола и повесили на стену. Но и оттуда он как будто бы примечал. Тогда надворный советник Бламанже предложил перенести его, как личного своего друга, в свою комнату. Надежда Петровна задумалась, вздохнула... и согласилась.

Не надо думать, однако, чтобы новый помпадур был человек холостой; нет, он был женат и имел детей; но жена его только и делала, что с утра до вечера ела печатные пряники. Это зрелище до такой степени истерзало его, что он с горя чуть-чуть не погрузился в чтение недоимочных реестров. Но и это занятие представляло слишком мало пищи для ума и сердца, чтобы наполнить помпадуру жизнь. Он стал ходить в губернское правление и тосковать.

Между тем зимний сезон окончился; наступил пост, пахнуло весной.

Надежда Петровна чувствовала, как грудь ее млела и закипала. Чтобы утомить наплыв жизни, она по целым часам выстаивала перед открытою форточкой, вдыхая влажный воздух, и выхаживала десятки верст, бесстрашно проникая в самые глухие закоулки города. Усталая, полуразбитая возвращалась она домой, опускалась на кушетку и закрывала глаза. Тяжелая, беспокойная дремота на короткое время оковывала ее члены, и целые сотни помпадуrows вереницею проходили перед ее умственными взорами. Тут были всякие: и с усами и без усов, и белокурые и брюнеты, и с бородавками и без бородавок, и высокоствольные и низкоствольные; но – увы! – между ними не было одного – не было нового помпадура! Что-то странное произошло с ним: он не только перестал прохаживаться под ее окнами, но даже как будто избегал встречи с нею. Так-таки вдруг и оборвал.

«Неужто ж он только того и добивался, чтоб расцеловать этого противного Блamanже?» – думалось иногда Надежде Петровне.

Дело состояло в том, что помпадур отчасти боролся с своею робостью, отчасти кокетничал. Он не меньше всякого другого ощущал на себе влияние весны, но, как все люди робкие и в то же время своевольные, хотел, чтобы Надежда Петровна сама повинилась перед ним. В ожидании этой минуты, он до такой степени усилил нежность к жене, что даже стал вместе с нею есть печатные пряники. Таким образом дни проходили за днями; Надежда Петровна тщетно ломала себе голову; публика ожидала в недоумении.

Публика эта разделилась на два лагеря. Часть ее, имея во главе полицеймейстера, решительно во всем обвиняла Надежду Петровну.

– Я все ей прощу! – гремел в клубе глава недовольных, – но одного простить не могу: зачем она истерзала благороднейшее в мире сердце!

Другая часть, напротив, оправдывала ее. Утверждали, что помпадур сам во всем виноват, что он сначала завлек благороднейшую в мире женщину, а потом, своею непростительною медлительностью, поставил ее в фальшивое положение.

– Чем в губернское правление-то шататься да пустяки на бобах разводить, лучше бы дело делать! – говорили защитники.

Как бы то ни было, но Надежда Петровна стала удостоверяться, что уважение к ней с каждым днем умалется. То вдруг, на каком-нибудь благотворительном концерте, угонят ее карету за тридевять земель; то кучера совсем напрасно в части высекут; то Блamanжею скажут в глаза язвительнейшую колкость. Никогда ничего подобного прежде не бывало, и все эти маленькие неприятности тем сильнее язвили ее сердце, что старый помпадур избаловал ее в этом отношении до последней степени.

Наконец, посинели и разлились реки; в поле показалась первая молодая травка; в соседнем пруду затрещали лягушки, в соседней роще защелкал соловей. До Надежды Петровны стали доходить слухи, что у нее явилась соперница, какая-то татарская княгиня Уланбекова, которую недовольная партия нарочно выписала из Казанской губернии.

– Из-за чего же он со мной эту комедию играл? – спрашивала она себя, бегая в отчаянье по комнатам и вымещая на Блamanже свою досаду.

Однажды она, по обыкновению, утомляла себя ходьбою по городским улицам, как вдруг на углу одной из них столкнулась лицом к лицу с самим помпадуром. Он был обаятелен по-прежнему, хотя на его лице вскочило несколько прыщей.

– Вы что ж это перестали ко мне ходить? – спросила она его голосом, в котором слышались и укор, и строгость.

Помпадур растерялся и начал разводить на бобах какую-то канцелярскую чепуху.

– Как вы смеете не ходить ко мне? – наступала она на него, не слушая возражений.

Она была в неопisanном волнении; голос ее дрожал; на глазах блистали слезы. Эта женщина, всегда столь скромная, мягкая и даже слабая, вдруг дошла до такого иступления, что помпадур начал опасаться, чтоб с ней не сделалась на улице истерика.

– Знаю я! знаю я все, что вы делаете! – продолжала она, не помня себя от волнения, – вы около этой мерзкой татарки ухаживаете! Только смейте у меня не прийти сегодня к Ольге Семеновне!

Помпадур не сопротивлялся. Он понял, что участь его решена.

* * *

Сердца их зажглись...

Но, как правдивый историк, я не могу скрыть, что новое помпадурство Надежды Петровны далеко не имело того кроткого характера, как первое.

Напротив того, оно ознаменовалось несколькими жестокостями, которые, по мнению моему, были, по малой мере, бесполезны.

Во-первых, татарскую княгиню Уланбекову немедленно фюить! и водворили в городе Свияжске, при слиянии реки Свияги с Волгою.

Во-вторых, полициймейстера удалили от должности, а прочих недовольных разослали в заточение по уездным городам.

В-третьих, помпадуру жену лишили последнего утешения: запретили есть печатные пряники.

В-четвертых, с Бламанжеем поступили до того скверно, что даже невозможно сказать...

Здравствуй, милая, хорошая моя!

Кому из петербургских обывателей не известен Дмитрий Павлыч Козелков?

Товарищи и сверстники звали его Митей, Митенькой, Козликом и Козленком; старшие, завидевши его, улыбались, как будто бы у него был нос не в порядке или вообще в его физиономии замечалось нечто уморительное.

Должность у Козелкова была не мудреная: выйти в двенадцать часов из дому в департамент, там потереться около столов и рассказать пару скандальных анекдотов, от трех до пяти погранить мостовую на Невском, потом обедать в долг у Дюссо, потом в Михайловский театр^[36], потом... потом всюду, куда ни потянет Сережу, Сережку, Левушку, Петьку и прочих шалунов возрождающейся России. Вот и все. Козелков прожил таким образом с самого выхода из школы до тридцати лет и все продолжал быть Козленком и Митенькой, несмотря на то что по чину уж глядел в превосходительные^[37].

Старшие все-таки улыбались при его появлении и находили, что в его физиономии есть что-то забавное, а сверстники нередко щелкали его по носу и на ходу спрашивали: «Что, Козлик, сегодня хватим?» – «Хватим», – отвечал Козлик и продолжал гранить тротуары на Невском проспекте, покуда не наступал час обедать в долг у Дюссо, и не обижался даже за получаемые в нос щелчки.

Но в тридцать лет Козелкова вдруг обуяла тоска. Перестал он рассказывать скандальные анекдоты, начал обижаться даваемыми ему в нос щелчками, и аккуратнее прежнего пустился ловить взоры начальников. Одним словом, обнаружил признаки некоторой гражданской зрелости.

– Митька! да что с тобой, шут ты гороховый? – спрашивали его сверстники.

– Mon cher! мне уж все надоело!

– Что надоело-то?

– Все эти Мальвины...^[38] Дюссо... одним словом, эта жизнь без цели, в которой тратятся лучшие наши силы!

– Повтори! повтори! как ты это сказал?

– Messieurs! Митенька говорит, что у него есть какие-то «лучшие» силы.

– Да разве в тебе, Козленок, что-нибудь есть, кроме золотушного худосочия?

И т.д. и т.д. Но Козлик был себе на уме и начал все чаще и чаще похаживать к своей тетушке, княжне Чепчеулидзевой-Уланбековой, несмотря на то что она жила где-то на Песках и питалась одною кашницей. Ma tante Чепчеулидзева была фрейлиной в 1778 году, но, по старости, до такой степени перезабыла русскую историю, что даже однажды, начитавшись анекдотов г.Семевского^[39], уверяла, будто бы она еще маленькую носила на руках блаженные памяти императрицу Елизавету Петровну.

– Красавица была! – шамкала старая девственница, – и бойкая какая!

³⁶ Обеды в фешенебельном ресторане Дюссо и посещение французских каскадных спектаклей в Михайловском театре входили в норму поведения молодых людей светско-аристократического Петербурга. Называя их дальше «шалунами возрождающейся России», Салтыков-Щедрин иронически использует либерально-официозную фразеологию пореформенного времени.

³⁷ То есть был близок к получению чина IV класса – действительного статского советника, которого титуловали словами «ваше превосходительство».

³⁸ Одно из излюбленных имен, которые в 60-70-х годах присваивали себе петербургские «лоретки» и «камелии».

³⁹ Салтыков-Щедрин относил М.И.Семевского к тем «фельетонистам-историкам» «анекдотической школы», которые «не задаются в своих трудах ровно никакою идеею и тискают в печатные статьи нисколько не осмысленные материалы, отрывые где-нибудь в архивах или в частных записках».

Однажды призывает графа Аракчеева, – или нет... кто бишь, Митя, при ней Аракчеевым-то был?

– *Le general Munich, ma tante (генерал Миних, тетушка)*, – отвечал Митя наудачу.

– Ну, все равно. Призывает она его и говорит: граф Петр Андреич!..^[40]

Но, высказавши эти несколько слов, старуха уже утомлялась и засыпала.

Потом, через несколько минут, опять просыпалась и начинала рассказывать:

– Ведь этот Данилыч-то из простых был!^[41] Ну да; покойница бабушка рассказывала, что она сама раз видела, как он к покойной великой княгине Софье Алексеевне... а как Хованский-то был хорош! Покойница царица Тамара сама говорила мне, что однажды на балу у Матрены Балк...

Одним словом, это была старуха бестолковая, к которой собственно и не стоило бы ездить, если б у нее не было друга в лице князя Оболдуй-Тараканова. Князь был камергером в то же самое время, когда княжна была фрейлиной; годами он был даже старше ее, но мог еще с грехом пополам ходить и называл княжну «*ma chere enfant*» (*мое милое дитя*). В то время, когда Козлику исполнилось тридцать лет, князь еще не совсем был сдан в архив, и потому, при помощи старых связей, мог, в случае надобности, оказать и протекцию.

Однажды вечером, когда старики уже досыта наговорились, Козлик не без волнения приступил к действительной цели своих посещений.

– *Ma tante*, – сказал он, – я хотел бы пристроиться.

– Что ж, мой друг, это доброе дело! Вот если б жива была покойница Машенька Гамильтон...

– *Mais comme il l'a traitee, le barbare! (Но как он ее третировал, варвар!)* – вставил от себя словцо старик-князь.

– *Pardon, ma tante*, я не об этом говорю... Мне хотелось бы пристроиться, то есть место найти.

– Так что ж, мой друг! Я могу об этом государю написать! Козелковы всегда были в силе; это, мой друг, старинный дворянский дом! Однажды, блаженная памяти императрица Анна Леопольдовна...

– *Ma tante, il ne s'agit pas de cela! (Не о том идет речь, тетушка!)* нынче уж даже совсем не тот государь царствует, об котором вы говорите!

– *Le gamin a raison! (малый прав!)* мы с вами увлеклись, *chere enfant!* – произнес князь.

– Я хотел, *ma tante*, просить вас, чтоб вы замолвили за меня словечко князю, – опять начал Козелков.

– Для Козелковых, мой друг, все дороги открыты! Я помню, еще покойный князь Григорий Григорьевич говаривал...

– Извините меня, *ma tante*; все это было очень давно, а теперь хоть я и Козелков, но должен хлопотать!

– *Le gamin a raison!* – повторил князь.

– Если б вы взяли, князь, на себя труд сказать несколько слов вашему внуку...

– Вам, молодежи человек, при дворе хочется место получить?

⁴⁰ Это имя и отчество появилось в рассказе лишь в издании 1882 года. В предшествующих публикациях было иначе: «граф Федор Петрович». Заставляя выжившую из ума старую фрейлину называть фельдмаршала Миниха – в ее представлении Аракчеева при императрице Елизавете – не принадлежавшим ему именем, Салтыков-Щедрин направлял сатирическую стрелу в адрес графа Петра Андреевича Шувалова, в недавнем прошлом шефа жандармов и начальника III Отделения. За свою грозную власть он получил от современников прозвище Петра IV и Аракчеева II.

⁴¹ Здесь и дальше старая фрейлина путает в своих придворных воспоминаниях бывшее с небывшим, XVII век с XVIII, действительность с литературой. Данилыч – Александр Данилович Меншиков, фаворит Петра I и Екатерины I; великая княгиня Софья Алексеевна – не княгиня, а царевна Софья Алексеевна; царица Тамара – конечно, не историческая грузинская царица этого имени, но легендарная героиня одноименной баллады Лермонтова («В глубокой теснине Дарьяла...»); князь Григорий Григорьевич – князь Римской империи и граф Григорий Григорьевич Орлов, фаворит Екатерины II.

– Нет, я хотел бы в губернию...

– Гм... а в мое время молодые люди все больше при дворе заискивали... В мое время молодые люди при дворе монимаску танцевали... вы помните, *chere enfant*?

Одним словом, с помощью ли ходатайства старого князя или ценою собственных усилий, но Козелков наконец назначен был в Семиозерскую губернию. Известие это произвело шумную радость в рядах его сверстников.

– Так это правда, шут ты гороховый, что тебя в Семиозерскую губернию назначили? – спрашивал один.

– А ну, представь-ка нам, как ты чиновников принимать будешь? – приставал другой.

– *Messieurs!* он маркера Никиту губернским контролером сделает!

– *Messieurs!* он буфетчика Степана возьмет к себе в чиновники особых поручений!

– Подкачивать Митьку!

– И, подбросивши до потолка, уронить его на пол!

А Митенька слушал эти приветствия и втихомолку старался придать себе сколько возможно более степенную физиономию. Он приучил себя говорить басом, начал диспутировать об отвлеченных вопросах, каждый день ходил по департаментам и с большим прилежанием справлялся о том, какие следует иметь *principes* в различных случаях губернской административной деятельности.

Через несколько дней он появился в кругу своих товарищей уже совершенно обновленный.

– *Mon cher, il faut avoir des principes pour administrer!* (*мой милый, надо иметь принципы, чтобы администрировать*) – серьезно убеждал он Левушку Погонина.

– Да что ж ты будешь администрировать-то, шут ты этакой?!

– Однако, *mon cher*, согласишься сам, что есть вопросы, в которых можно идти и так и этак...

– Ну, ты и иди и так и этак!

– Я, с своей стороны, принял себе за правило: быть справедливым – и больше ничего!

Козелков сказал это так серьезно, что даже Никита-маркер – и тот удивился.

– Посмотри, Митька, ведь даже Никита не может прийти в себя от твоего назначения! – заметил Погонин, – Никита! говори, какие могут быть у Козленка принципы?

– Ихний принцип кушать и за кушанье денег не отдавать, – отвечал Никита, при громе общих рукоплесканий.

– Браво, Никита! И если он еще хоть один раз заикнется о принципах, то скажи Дюссо, чтоб не давал ему в долг обедать!

Разумеется, Митенька счел священным долгом явиться и к *ma tante*; но при этом вид его уже до того блистал красотой, что старуха совсем не узнала его.

– Господи! да никак это камер-юнкер Монс пришел! – сказала она и чуть-чуть не отправилась на тот свет от страха.

Старик-князь тоже принял его благосклонно и даже почтил наставлением.

– В наше время, молодой человек, – сказал он, – когда назначали на такие посты, то назначаемые преимущественно старались о соединении общества и потом уж вникали в дела...

– Я, князь, постараюсь.

– Я вами доволен, молодой человек, но не могу не сказать: прежде всего вы должны выбрать себе правителя канцелярии. Я помню: покойник Марк Константиныч никогда бумаг не читал, но у него был правитель канцелярии:

une celebrete! (*знаменитость!*) Вся губерния знала его *comme un coquin fieffe* (*как отъявленного жулика*), но дела шли отлично!

На семиозерский мир назначение Козелкова действовало каким-то ошеломляющим образом. Чиновники спрашивали себя, кто этот Козелков, и могли дать ответ, что это Козелков, Дмитрий Павлыч, – и больше ничего. Два советника казенной палаты чуть не поссорились

между собою, рассуждая о том, будет ли Козелков дерзок на язык или же будет «мягко стлать, да жестко спать». Наконец, однако ж, губернский прокурор получил из Петербурга письмо, в котором писалось, что едет, дескать, к вам «Козелков – малый удивления достойный»! Прокурор до того разозлился на своего корреспондента за такое непростительно неясное определение, что тут же разорвал его письмо в клочки.

Но, в сущности, корреспондент был прав, ибо Козелков был именно «малый удивления достойный» – и ничего больше.

* * *

Тот, кто знал Козелкова в Петербурге, Козелкова, с мучительным беспокойством размышлявшего о том, что Дюссо во всякую минуту жизни может прекратить ему кредит, – тот, конечно, изумился бы, встретивши его в Семнозерске на первых порах административной его деятельности. Во-первых, там никто не называл его ни Митей, ни Митенькой, ни Козликом, ни Козленком, а звали все вашеством, и только немногие аристократы позволяли себе употреблять в разговоре его имя и отчество; во-вторых, в его наружности появилась сановитость и какая-то глянцевиная непроходимость; в-третьих, в голове его завелось целое гнездо принципов.

Тем не менее первое знакомство его с семиозерской публикой произвело на последнюю самое благоприятное впечатление. Один почтенный старец выразился об нем, что он «достолюбезный сын церкви»; жена губернского предводителя сказала: «Ничего, он очень мил, но, кажется, слишком серьезен»; вице-губернатор промышал что-то невнятное; градской голова удивился, что он «в таких молодых летах, а подит-кось!» Один губернский прокурор, как человек желчный, отозвался: «А что это наш Дмитрий-то Павлыч как будто на Митьку похож!» Одним словом, все, за исключением прокурора, нашли, что это молодой администратор внимательный и, кажется, с направлением.

С своей стороны, Митенька делал все, чтобы очаровать семиозерских сановников и расположить общественное мнение в свою пользу. Он с каждым губернским тузом побеседовал отдельно, каждого расспросил о подробностях вверенной ему части и каждому любезно присовокупил, что он должен еще учиться и очень счастлив, что нашел таких опытных и достойных руководителей.

Разумеется, дело началось с губернского предводителя, и, надо сказать правду, это было дело самое щекотливое. Предводитель был малый суровый и бесцеремонный и на всех вообще «сатрапов» смотрел безразлично, то есть как на лиц, мешавших дворянству развиваться беспрепятственно. Он постоянно был в контре со всеми губернаторами; некоторых из них он называл «фофанами», других «прощелыгами», всех вообще – «государевыми писарями». В особенности же негодовал он в тех случаях, когда ему, по делам службы, приходилось являться и вообще оказывать некоторую подчиненную аттентацию.

– Нет, да вы сообразите, – говорил он, выходя из себя, – каково мне, государеву дворянину, да к государеву писцу являться!

И когда ему замечали, что все эти лица точно такие же дворяне, как и он сам, он неизменно показывал в ответ фигу и приговаривал:

– Чтob дворянин пошел продавать себя за двугривенный – да это боже упаси! Значит, вы, сударь, не знаете, что русский дворянин служит своему государю даром, что дворянское, сударь, дело – не кляузничать, а служить, что писаря, сударь, конечно, необходимы, однако и у меня в депутатском собрании, пожалуй, найдутся писаря, да дворянами-то их, кукиш с маслом, кто же назовет?

Повторяю: это был малый суровый и несообразительный. Но за эту-то несообразительность он и держался несколько трехлетий сряду на своем посту, потому что мы, русские,

очень охотно смешиваем это качество с твердостью характера и неподкупностью убеждения. Митенька знал это качество и, признаться, немножко-таки потрухивал.

– Я надеюсь, Платон Иванович, что вы не оставите меня вашими советами, – начал он.

– Рад-с. Только у нас, вашество, такая чепуха идет, что никак этого дела переменить нельзя... В губернском правлении, в строительной комиссии – просто денной грабеж!

– Тсс... так вы полагаете?

– Ничего я не полагаю, а навверное говорю, что в губернском правлении денной грабеж. Мне что? я в чужие дела не вмешиваюсь, а сказать – всегда скажу!

– Какая же причина, однако ж?

– А та и причина, что до вашегоства у нас на этом месте сряду десять фофанов сидело... ну, и насидели!

Митеньку несколько покорибило.

– Я всем говорил правду, – продолжал предводитель, – и вам буду правду говорить! Хотите меня слушать – слушайте! не хотите – мне что за дело!

– Я, Платон Иванович, приехал сюда учиться...

– Ну, уж где нам ученых учить!

– Нет, уверяю вас! Я очень счастлив, что нахожу такого опытного и достойного руководителя!

– Очень рад-с, очень рад-с! Милости просим ко мне хлеба-соли откусать.

– Благодарю вас. Повторяю вам, что я счастлив, я совершенно счастлив, встречая такого опытного и достойного руководителя!

Таким образом, дело сошло с рук благополучно. С остальными тузами и чиновниками оно пошло еще легче. Вице-губернатора Митенька принял вместе с прочими членами губернского правления. Все обладали темно-оливковыми физиономиями, напоминавшими собой лики, изображаемые на старинных образах.

Принимая их, Митенька имел вид довольно строгий, потому что ему предстояло сделать внушение.

– Господа! правда ли, что до сведения моего дошло, будто вы ссоритесь между собою? – спросил он совершенно серьезно.

Члены злобно взглянули друг на друга.

– Мы не ссоримся, а по делам диспуты имеем! – выступил вперед старший советник Штановский.

– Вот изволите, вашество, видеть! – подстрекнул и в то же время сфискалил вице-губернатор.

– Господин Штановский! ваша речь впереди! – заметил Митенька, слегка возвышая голос, – господа! я желаю, чтоб у меня этих диспутов не было!

– Во втором томе свода законов, статья... – заикнулся было Штановский.

– Господин Штановский! я имел честь заметить вам, что ваша речь впереди! Господа! Я уверен, что имея такого опытного и достойного руководителя, как Садок Сосфенович (пожатие руки вице-губернатору), вы ничего не придумаете лучшего, как следовать его советам! Ну-с, а теперь поговорим собственно о делах. В каком, например, положении у вас недоимки?

– Тысящ с пятьсот, а може, и поболее буде, – отозвался на этот вопрос советник Валяй-Бурляй.

– Вот он всегда так, вашество, отвечает! – опять сфискалил вице-губернатор и, обращаясь к Валяй-Бурляю, прибавил:

– А вы скажите, сколько поболее-то будет?

– Самы кажыты!

– Господин Валяй-Бурляй! извините меня, но я должен сказать, что вы совсем не так говорите с своим прямым начальником, как следует говорить подчиненному! Господа! обра-

щаю ваше внимание на недоимку и в виду этого предмета убеждаю прекратить ваши раздоры! Недоимка – это, так сказать, государственный нерв... надеюсь, что мне больше не придется вам это повторять.

Митенька простился и пожелал остаться наедине с вице-губернатором. Но когда советники были уже у дверей, он что-то вспомнил.

– Господин Мерзопупиос! – сказал он, клича третьего советника, – не знаю, правда ли, что до сведения моего дошло, будто бы здесь собственность совершенно не уважается?

Мерзопупиос вильнул всем телом.

– Собственность есть священнейшее из прав человека! – продолжал Митя, – и взыскания по бесспорным обязательствам...

Митенька запнулся, потому что вспомнил, что сам не заплатил еще своего долга Дюссо.

– Я надеюсь, что вы не заставите меня повторять это, – продолжал он и взглядом отпустил Мерзопупиоса.

Я не буду описывать дальнейших представлений. У управляющего палатой государственных имуществ Митенька спросил, в каком состоянии находится скотоводство в губернии, у председателя казенной палаты – до какой цифры простирается питейный доход, и т.д. Всем вообще сказал, что очень рад найти в них достойных и опытных руководителей.

Не могу умолчать и об разговоре с губернским полковником. Впустивши его в кабинет, Митенька даже счел за надобное притворить за ним дверь поплотнее и вообще, кажется, предположил себе всласть отвести душу беседой с этим сановником.

– Что вы скажете, полковник, насчет здешнего образа мыслей? – спросил он, значительно понизивши голос.

– Образ мыслей здесь самый, вашество, благонамеренный, – отвечал полковник, – и если б только начальство уважило мое ходатайство о высылке отставного поручика Шишкина, то смело могу сказать...

– Кто этот Шишкин? – прервал Митенька, несколько встревожившись.

– Отставной поручик-с. Вы не можете вообразить себе, вашество, что это за ужаснейший человек! Намеднись, можете себе представить, ухитрился пролезть под водою в женскую купальню!

– И много там дам было?

– В самый, вашество, раз попал! И представьте, вашество, что говорит в свое оправдание: «Я, говорит, с купчихой Берендеевой хотел свидание иметь!» – «Да разве вам нет, сударь, других мест для свиданий? разве вы простолюдин какой-нибудь, что не можете благородным манером свидание получить?»

– Однако у него губа не дура, у этого Шишкина.

– Просто, вашество, весь женский пол целую неделю в смятении был.

– Гм... об этом нужно подумать! Ну, а политического ничего нет?

– Политического, вашество, решительно ничего в нашей губернии нет.

– А молодые люди есть?

– Есть, вашество, но это именно прекраснейшие молодые люди, из которых со временем образуются прекраснейшие сановники.

– Что читают?

– «Московские ведомости», вашество, но и то – как бы сказать? – одно литературное прибавление, а не политику^[42].

⁴² В публикации «Современника» вслед за этими словами шло следующее продолжение диалога между Козелковым и губернским полковником, то есть жандармом:– А какие журналы получают в вашем городе? – Больше всего настоящие-с: «Северную пчелу» – с, «Сын отечества»... – Могу с своей стороны рекомендовать «Москвитянин»!» (*первоначально в наборе корректуры было: «Больше все патриотические-с»*) – Все упомянутые в диалоге органы печати принадлежали к официальному и официозному направлению.

Собеседники на минуту смолкли.

– Знаете ли что? – первый прервал молчание Митенька, – я думаю преимущественно обратить внимание на общественную безопасность... а?

– Конечно, вашество, это самая главная вещь в губернии. Вот если б, вашество, Шишкина...

– Потому что – вы меня понимаете? – если общественная безопасность обеспечена, то, значит, и собственность ограждена, и всяким удовольствиям мирные граждане могут предаваться с полной непринужденностью...

– Уж на что же лучше! Только бы, вашество, Шишкина... право, вашество, это не человек, а зараза!

– Об Шишкине, полковник, не заботьтесь. Я ручаюсь вам, что сделаю из него полезного члена общества! А еще я полагаю посмотреть здешний гостиный двор и установить равновесие между спросом и предложением!

Полковник потупился, потому что не понимал.

– Я вижу, что это для вас ново. «Спрос» – это вообще... требование товара; «предложение» – это... это предложение товара же. Понимаете?

Теперь, значит, если спрос велик, а предложение слабо, то цена на товар возвышается, и бедные от этого страдают...

– Это, вашество, будет для города такая польза... такое, можно сказать, благодеяние...

– Я хочу, чтоб у меня каждый мог иметь все, что ему нужно, за самую умеренную цену! – продолжал Митенька и даже сам выпучил глаза, вспомнив, что почти такую же штуку вымолвил в свое время Генрих IV^[43].

Собеседники опять смолкли, потому что полковник окончательно раскис.

– Ну-с, очень рад; очень счастлив, что нахожу такого опытного и достойного руководителя, – заключил Митенька и расстался с полковником.

В это же утро Митенька посетил острог; ел там щи с говядиной и гречневую кашу с маслом, выпил кружку квасу и велел покурить в коридоре.

Затем посетил городскую больницу, ел габер-суп, молочную кашу и велел покурить в палатах.

– А thea chinensis (*китайский чай*) частенько прописываете? – любезно спросил он ординатора, который следовал за ним как тень.

Ординатор понял шутку и улыбнулся.

– Нет, кроме шуток, – прибавил Митенька, – я нахожу, что здесь хоть куда! Только, пожалуйста, курите почаще! Я особенно об этом прошу!

Затем, так как уж более не с кем было беседовать и нечего осматривать, то Митенька отправился домой и вплоть до обеда размышлял о том, какого рода произвел он впечатление и не уронил ли как-нибудь своего достоинства.

Оказалось, по проверке, что он, несмотря на свою неопытность, действовал в этом случае отнюдь не хуже, как и все вообще подобные ему помпадуры:

Чебылкины, Зубатовы, Слабомысловы, Бенескриптовы и Фютяевы^[44].

⁴³ Речь идет о знаменитой фразе, будто бы сказанной французским королем Генрихом IV: «Я желал бы, чтобы у каждого крестьянина по воскресеньям была курица в супе».

⁴⁴ Сатирические персонажи предыдущих произведений Салтыкова-Щедрина, воплощающие черты дореформенной губернской администрации.

* * *

Митенька очень хорошо запомнил совет Оболдуй-Тараканова, заповедавшего ему прежде всего обратить внимание на соединение общества. Совет этот отлично гармонировал с его собственными сибаритскими наклонностями (*genre Oeil de Boeuf*) (*в стиле «Бычьего Глаза»*). «Что такое общество?» – задал он себе вопрос и тотчас без запинки отвечал, что общество составляют *les dames et les messieurs*. «Что нужно, чтобы общество жило в единении?» – нужно удалить от него такие мысли, которые могут служить поводом для раздоров и пререканий. Вот Мерзопупиос и Штановский засели там в своей мурье и грызутся, разбирая по косточкам вопрос о подсудности, – это понятно, потому что они именно ничего, кроме этой мурьи, и не видят; но общество должно жить не так, оно должно иметь идеи легкие. *Les messieurs et les dames* обязаны забывать обо всем, кроме взаимных друг к другу отношений. Поэтому города, в которых господствует легкое поведение, процветают и отличаются веселостью; города же, в которых *les messieurs* вносят служебные свои дрязги даже в частную жизнь, отличаются унынием, и *les dames*, вследствие того, приобретают там скверную привычку ложиться спать вместе с курами.

Во время утренних своих слоняний с визитами по Семиозерску Митенька, как знаток по части клубнички, не мог не заметить, что город обладает в изобилии самыми разнообразными «*charmants minois*» (*очаровательными мордочками*), которые, однако ж, вследствие неряшества и домоседства, кажутся заспанными и даже словно беременными. В домах он заметил какой-то странный, почти необъяснимый запах («Черт его знает! словно детьми или морскими травами пахнет!») и чуть-чуть было не распорядился, чтоб покурили. «А все это оттого, что мастера нет, который вдохнул бы душу в эти хорошенькие материалы... нет! надо их подтянуть!»

Эта идея до того ему понравилась, что он решился провести ее во что бы то ни стало и для достижения цели действовать преимущественно на дам. Для начала, обед у губернского предводителя представлял прекраснейший случай.

Там можно было побеседовать и о *spectacles de societe* (*любительских спектаклях*) и о лотерее-аллегри, этих двух неизменных и неотразимых административных средствах сближения общества.

В этих видах он отправился на обед несколько пораньше («кстати уж и за предводительшей приударить!» – подумал он), но оказалось, что на этот раз весь губернский люд словно сговорился и собрался ранее обыкновенного.

Оставалось покориться.

Предводительша, пикантная брюнетка, взглянула на него довольно пронзительно и указала место подле себя. Кругом тоже сидели дамы, в числе которых было несколько действительно хорошеньких.

– Да избавьте вы нас, Дмитрий Павлыч, ради бога, от этого разбойника Мухоярова, который заодно с губернским правлением по дорогам грабит! – совершенно некстати забасил хозяин.

– Pardon, cher Платон Иванович, позвольте мне на этот раз не слушать вас!

Я, конечно, сделаю все, что вам угодно будет мне приказать, но здесь я исключительно в распоряжении дам, – отвечал Митенька, очень грациозно помахивая головкой.

Дамы просияли и инстинктивно оправили свои платья.

– Бывают у вас здесь спектакли? – обратился Митенька к хозяйке.

– Да... зимою приезжают какие-то актеры, но мы их никогда не видим, – отвечала хозяйка и опять взглянула на Митеньку.

«Так бы я тебя и съел!» – подумал Митенька, пожирая ее глазами, но вслух продолжал:

– Нет, я, конечно, не об городских спектаклях говорю... я говорю об так называемых spectacles de societe...

Из дам некоторые перешепнулись, другие перемигнулись, как будто говорили друг другу: а вот, погоди, заставит он нас всех петь водевильные куплеты и изображать «резвящихся русалок»!

– Нет, здесь этим некому было заняться.

– Но вы, Татьяна Михайловна?

– Я?... а почему вы предполагаете, что именно я могу этим заняться?

Митенька сконфузился; он, конечно, был в состоянии очень хорошо объяснить, почему он так думает, но такое объяснение могло бы обидеть прочих дам, из которых каждая, без сомнения, мнила себя царицей общества.

Поэтому он только мямл в ответ губами. К счастью, на этой скользкой стезе он был выручен вошедшим официантом, который провозгласил, что подано кушать. Татьяна Михайловна подала Митеньке руку. Процессия двинулась.

– Давайте вашу руку, но за обедом вы мне непременно должны объяснить, почему вы считаете, что именно я должна принять на себя устройство спектакля? – полушепотом сказала хозяйка дорогой.

– Стоит только взглянуть на вас, чтобы... – начал Митенька и не кончил.

– А? – не то насмешливо, не то сочувственно произнесла Татьяна Михайловна.

За столом разместились попарно, то есть мужчины впережку с дамами.

Излишек мужчин (преимущественно старцы, уже совсем непотребные) сгруппировался на другом конце стола, поближе к хозяину.

– Ну-с, «чтобы»?.. – начала опять Татьяна Михайловна, очевидно, кокетничая. Она кушала при этом суп с такою грацией, как будто играла ложкой.

– Чтобы убедиться, что вы – единственная женщина, которая может привлечь...

– Публику?

– Вы жестоки, Татьяна Михайловна.

– Вашество! рекомендую вам пирожки! у меня для них особенный повар есть! в Новотроицком учился!^[45] – приглашал с другого конца хозяин дома.

– Ем-с, Платон Иванович; пирожки действительно бесподобны.

– Шесть лет в ученье был, – продолжал хозяин, но Митенька уже не слушал его. Он делал всевозможные усилия, чтоб соблюсти приличие и заговорить с своею соседкой по левую сторону, но разговор решительно не вязался, хотя и эта соседка была тоже очень и очень увлекательная блондинка. Он спрашивал ее, часто ли она гуляет, ездит ли по зимам Москву, но далее этого, так сказать, полицейского допроса идти не мог. И мысли, и взоры его невольно обращались к хорошенькой предводительше.

– Кушайте же пирожки; их шесть лет учились готовить, – насмешливо говорила между тем хозяйка.

Митенька ободрился.

– Так вы согласны будете взять на себя труд устроить spectacle de societe? – спросил он.

– Да, если вы будете внимательны к нашим дамам... Mesdames! Дмитрий Павлыч просит, чтоб вы приняли участие в предполагаемом им спектакле! Но вы и сами непременно должны принять в нем участие, – продолжала она, обращаясь к Митеньке, – вы должны быть нашим premier amoureux... (*первым любовником*) – Да, да! непременно, непременно! – вторили дамы.

– Увы! для меня это недоступно! Печальная необходимость... мой пост...

Но я могу, если угодно, быть вашим режиссером, mesdames, и тогда – прошу меня слушаться! потому что ведь я очень строг.

⁴⁵ То есть в известном в то время Новотроицком трактире в Москве, на Ильинке.

– Будто бы строги? – мимоходом заметила предводительша, взглядывая на него исподлобья.

– Увы!.. боюсь, что нет!

– Это вы, вашество, их спектакль устроить приглашаете? – вступился опять хозяин, – напрасно стараетесь! Эта штука у нас пробована и перепробована!

– Mon mari va dire quelque betise (*мой муж скажет сейчас какую-нибудь глупость*), – шепнула предводительша про себя, но так, что Митенька слышал.

– А что же? – спросил он предводителя.

– Да наши барыни, как соберутся, так и передерутся! – ответил хозяин, отнюдь не церемонясь.

– Fi, mon ami (*фи, мой друг*), какие ты вещи говоришь! – обиделась супруга его.

– Ну, уж извини меня, Татьяна Михайловна! а что правда, то правда!

– Какие же пиесы мы будем играть? – молвила блондинка, сидевшая по левую сторону.

– Позвольте... я знаю, например, водевиль... он называется «Аз и Ферт»...^[46] le litre est bizarre, mesdames (*странное название, сударыни*), но пиеска, право, очень-очень миленькая! Есть в ней этакое brío... (*воодушевление*) – Я однажды в Москве у князя Сергея Борисыча «Полковника старых времен» играла, – пискнула было вице-губернаторша, но на нее никто не обратил внимания.

– Есть еще, вашество, пиеска: «Несчастия красавца», – откликнулся хозяин, может быть, с намерением, а может быть, и без намерения, но Митенька почувствовал, что его в это время словно ударило чем в спину.

– Да, и такая пиеса есть, – сказал он, – но, признаюсь, я более люблю живые картины. Je suis pour les tableaux vivants, moi! (*Что касается меня, то я за живые картины!*) На минуту все смолкли; слышен был только стук ножей и вилок.

– Дурак родился! – сказал хозяин.

Все засмеялись.

– Но, Платон Иваныч, позвольте вам заметить, что если всегда в подобные минуты должен непременно родиться дурак, то таким образом их должно бы быть уж чересчур много на свете! – заметил Митенька.

– А вашество разве думали, что их мало?

Митеньке сделалось положительно неловко, потому что хозяин, очевидно, начинал придираться.

– Mon mari est j'aloux! (*Мой муж ревнует!*) – шепнула опять-таки про себя предводительша, очень мило обгладывая крылышко цыпленка.

Начали подавать шампанское. Начались поздравления и пожелания.

Предводительша мило чокнулась и сказала:

– Je desire que vous nous restiez le plus longtemps possible! (*Я желаю, чтоб вы оставались у нас как можно дольше!*) – А еще что? – процедил сквозь зубы Митенька.

– Nous verrons (*увидим*), – тоже процедила хозяйка.

– Вашество! извините! тоста не провозглашаю, а за здоровье ваше выпью с удовольствием! – говорил между тем предводитель.

«Ишь ведь оболтус! и у себя-то не хочет почтения сделать!» – подумал Митенька, припомнивший теорию предводителя о государевых писарях.

– Вот у меня письмоводитель в посреднической комиссии есть, так тот мастер за обедами предики эти говорить, – продолжал хозяин, – вот он!

Тут только Митенька заметил, что в темном углу комнаты, около стены, был накрыт еще стол, за которым сидели какие-то три личности. Одна из них встала.

⁴⁶ «Аз и Ферт» – водевиль П.С.Федорова, посвященный чиновничьему быту; написан и поставлен в 30-х годах XIX века.

– Я от хлеба-соли никому не отказываю! потому – народ бедный, оборванцы! – ораторствовал хозяин, – прикажете ему, вашество, приветствие сказать?

– Отчего же... я с удовольствием!

– Катай, Анпетов!

– Ах, mon ami, какие у тебя выражения!

– Ну, уж, Татьяна Михайловна, не взыщи! каков есть, таков и есть! Что правда, то правда!

Анпетов вышел к середине стола и произнес:

– Почтеннейшие госпожи и милостивые господа!

Если солнцу восходящу всякая тварь радуется и всякая птица трепещет от живительного луча его, то значит, что в самой природе всеблаготворительный промысел установил такой закон, или, лучше сказать, предопределение, в силу которого тварь обязывается о восходящем луче радоваться и трепетать, а о заходящем – печалиться и недоумевать.

Здесь вижу я, благородные слушательницы и почтеннейшие слушатели, собрание гостей именитых, в целом крае славных, и между ними некоего, который именно тот восходящий солнца луч прообразует, о коем сказано. Он еще млад, но умудрен знаниями; глава его не убелена сединою, но ум обогащен наукой. Не дерзостный и не гордостный, но благодетельный и душеприятный пришел ты к нам! дерзнем ли же мы пренебречь тем законом, который сама природа всеблаготворительная вложила в сердца наши? Дерзнем ли печалиться и недоумевать в такие минуты, когда надлежит трепетать и радоваться?

Нет, не дерзнем, но воскликнем убо: за здравие и долгоденствие его вашегоства Дмитрия Павловича Козелкова! Ура!

– Благодарю вас! – отвечал Митенька и, обратившись к дамам, прибавил; – Mais il a le don de la parole! (*Но у него дар слова!*) – Приходи уже! водки дам! – сказал хозяин.

Наконец обед кончился. Провожая свою даму в гостиную, Митенька дерзнул даже пожать ей локоть, и хотя ему не ответили тем же, однако же и мины неприятной не сделали. Митеньку это ободрило.

– Так судьба наших спектаклей в ваших руках? – сказал он.

– Да; я постараюсь... если Платон Иванович позволит...

– О, мы нападем на него всем обществом! Но вы представьте себе, как это будет приятно! Можно будет видаться... говорить!

Предводительша легонько вздохнула.

– Репетиции... трепетное мерцание лампы... – начал было фантазировать Митенька.

– Вашество! милости просим в кабинет! господа! милости просим! – приглашал гостеприимный хозяин.

Митенька должен был покориться печальной необходимости; но он утешался дорогой, что первый толчок соединению общества уже дан и что, кажется, дело это, с божьею помощью, должно пойти на лад.

Был уж девятый час вечера, когда Митенька возвращался от предводителя домой. Дрожки его поравнялись с ярко освещенным домом, сквозь окна которого Митенька усмотрел Штановского, Валяй-Бурляя и Мерзопупиоса, резавшихся в преферанс. На столике у стены была поставлена закуска и водка. По комнате шныряли дети. Какая-то дама оливкового цвета сидела около Мерзопупиоса и заглядывала в его карты.

– Чей это дом? – спросил Митенька кучера.

– Советника Мерзаковского!

«Га! помирились-таки! – подумал Митенька, – ну, и здесь, с божьею помощью, дело, кажется, пойдет на лад!»

Возвратившись домой, Митенька долгое время мечтал.

«Кажется, что дело не дурно устрояется, – думал он, – кажется, что уж я успел дать ему некоторое направление!»

Он подошел к зеркалу, поставил на стол две свечи и посмотрелся – ничего, хорош!

– Что ж это они всегда смеялись, когда на меня глядели? – произнес (он), – что они смешного во мне находили?

Митенька решил, что это было не что иное, как пошлое школьничество, и пожелал отдохнуть от трудового дня.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.